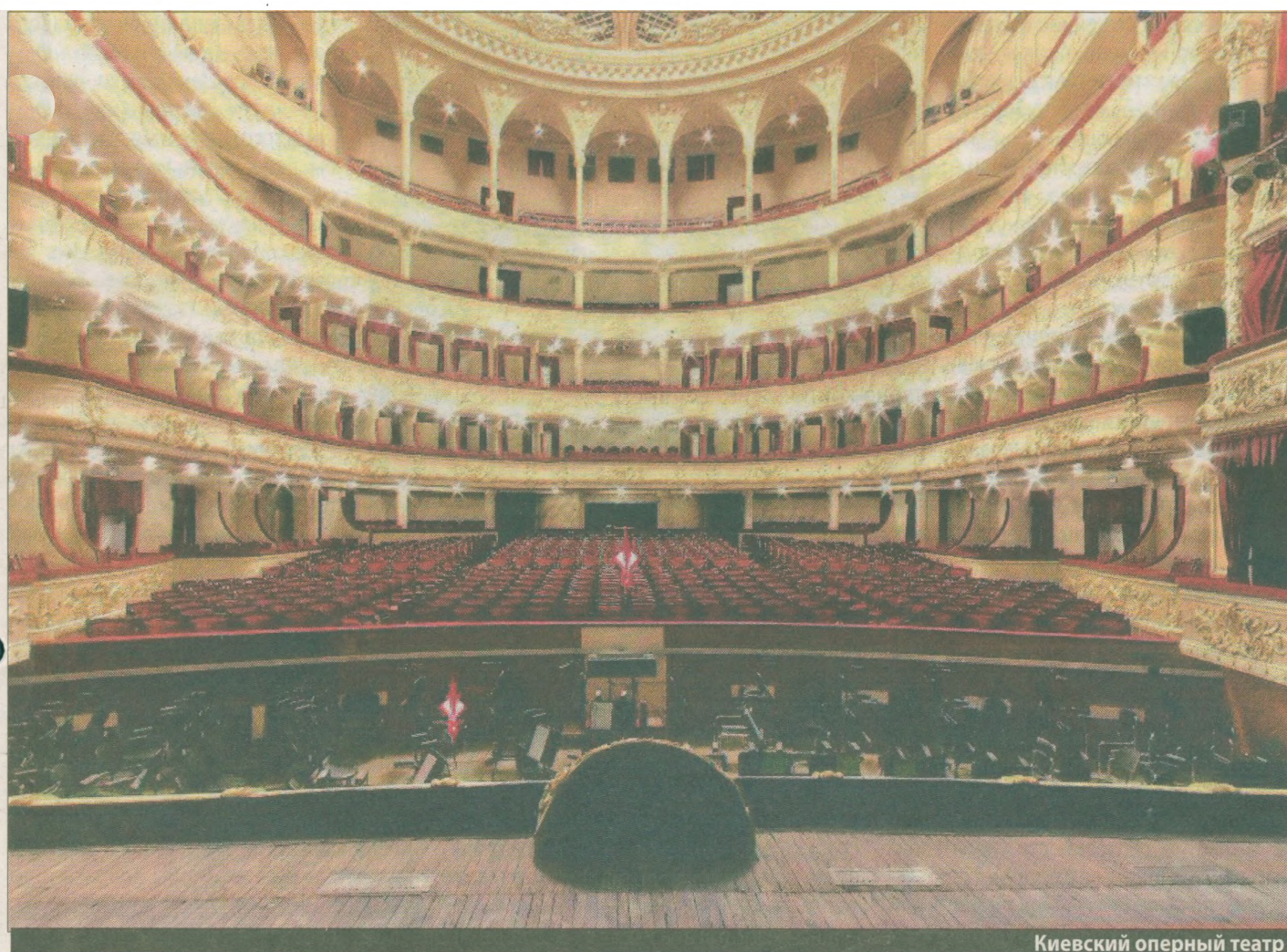


# ЕВРЕЙСКИЙ КАМЕРТОН

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

## ТЕАТРАЛЬНОЕ УБИЙСТВО



Киевский оперный театр

**Александр ГОРДОН,**  
Хайфа

История, которая совершается в театре, вызывает особые эмоции участников, критиков и исследователей происшедшего. Настоящее убийство в театре, неожиданное, необъявленное, при небывалых подготовке, проверке и охране, в присутствии царя, по случаю установления памятника царю-"освободителю" Александру II, деду действующего царя, создало драму на десятки лет. В 1911 г. исполнилось 50 лет с момента отмены крепостного права в Российской империи. До отмены черты оседлости и других ограничений для евреев России оставалось 5,5 лет, но это случилось не при царском режиме. Число евреев-революционеров, возвращенных долгим и тяжким угнетением, выросло до необра-

тимо большого числа. Один из них предпочел умереть, убив в театре.

В течение 25 лет со дня рождения я прожил напротив Оперного театра в Киеве и много раз находился рядом с местом убийства, вблизи первого ряда партера и оркестровой ямы. Как любитель классической музыки, я был частым посетителем двух самых музыкальных мест Киева, связанных с тем убийством, - на Царской площади, где рядом со зданием Купеческого собрания, будущей филармонии, 30 августа 1911 года был установлен памятник Александру II, и в Городском театре (позже Киевский театр оперы и балета), где 1 сентября по старому стилю 1911 г. исполнили оперу Н.А.Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане". Во втором антракте оперы, в 23:52 помощник присяжного поверенного (адвоката) Дмитрий Григорьевич

(МордкоГершович) Богров двумя выстрелами из браунинга смертельно ранил статс-секретаря, председателя Совета министров Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина.

Зал замирает в ужасе. Когда смолкают негодующие крики по адресу стрелявшего, схваченного и избитого зрителями, публика в волнении настойчиво требует исполнения гимна. Вздвигается занавес. Царь приближается к барьеру ложи генерал-губернатора. На сцене труппа и оркестр трижды исполняют "Боже, царя храни". Артисты и хор опускаются на колени. Многие протягивают сложенные, как на молитву, руки. Сразу после поступления в частную лечебницу Маковского Столыпин, еще в сознании, просит передать царю, что готов умереть за него. Герой умирает 5 сентября. Опера

М.И.Глинки "Иван Сусанин" тогда еще называлась "Жизнь за царя". В газете "Киевлянин" было тогда напечатано, что О.Б.Столыпина, супруга премьеры, в разговоре с государем сказала: "Сусанины, Ваше Величество, не перевелись на Руси". Россия кажется единой в пароксизме патриотизма и в выражении верности своему императору.

Очевидец событий А.С.Панкратов пишет: "Но все эти подробности отошли в сторону перед главным: Богров - еврей". Страшная весть порождает страшную угрозу для жизни евреев. В киевской тюрьме в это время томится в ожидании суда обвиняемый в убийстве христианского мальчика в ритуальных целях Мендель Бейлис. Усиливаются призывы отомстить евреям за "преступление" Бейлиса и за покушение Богрова. Еще никогда евреи не были в таком опасном положении. Что же они думают и чувствуют?

16 сентября 1911 г. нью-йоркская газета "Правда", выходящая на идише, писала: "Мы надеемся, что пуля, угодившая в Столыпина, верно попала в цель, что она выполнила свое назначение, что мудрая пуля освободила Россию от ее несчастья, мир - от гнусного создания, человечество - от великого позора. Мы не боимся, и нас не пугает возможность, что человек, стрелявший в нечеловека (изверга) - еврей, что рука, вновь поднявшая в России знамя борьбы, знамя свободы, - еврейская рука. Еврейская кровь добровольно была принесена на алтарь справедливости для того, чтобы смыть еврейскую кровь, которую убитый проливал не ручьями, а морями. <...> Доверенное лицо русского деспота не может быть канцлером, оно должно быть палачом. И Столыпин решил жить и умереть николаевским лакеем, николаевским вешателем". Имя Столыпина связывалось с жестоким подавлением революции 1905 года, в ответ на которую он ввел военные суды и быстрые казни противников царского режима. Виселицы, на которых казнили революционеров, были поименованы "столыпинскими галстуками". В статье 1911 года "Столыпин и революция" В.И.Ленин назвал премьер-министра "обер-вешателем". Столыпин был символом реакции.

Отрывок статьи из нью-йоркской "Правды" насыщен любовью к России и ненавистью к тирании.

Продолжение.  
Начало в предыдущем выпуске

Ян Томаш ГРОСС  
при участии  
Ирены ГРУДЗИНЬСКОЙ-ГРОСС

# ЗОЛОТАЯ ЖАТВА

В отрывках

Эту книгу читать тяжело - морально и физически. Импульсом к ее созданию послужила фотография, сделанная после войны на территории лагеря смерти Трешлинка, где местные жители занимались поисками драгоценностей, якобы оставшихся после уничтожения евреев в газовых камерах. Именно на периферии Холокоста замечены гиены в человеческом образе. "Золотая жатва" - не только описание этого кошмара, но и попытка понять его причины

Глава "Что происходило на земле лагерей смерти сразу после войны". Но вернемся к нашему снимку. Первое сообщение об освобожденной территории лагеря уничтожения в Трешлинке представила польско-советская комиссия по расследованию преступлений, совершенных в концлагере Майданек, уже 15 сентября 1944 г. В том же месяце великий российский писатель Василий Гроссман, в качестве военного корреспондента сопровождавший фронтной отдел Красной армии, опубликовал репортаж о посещении лагеря с подробным описанием функционирования этого центрального очага Холокоста.

Участники польско-советской комиссии "в отчете постановили собрать и сохранить документы, которые находятся на этой территории, раскопать общие могилы с целью раскрытия тайн совершенных там немецких преступлений". Но в последующие годы для этого не было сделано совершенно ничего, за исключением того, что в 1947 г. вокруг территории лагеря был поставлен забор (sic!). Позже время от времени раздавались призывы обеспечить порядок на этой территории, но они также оставались без последствий. Увековечение лагерей смерти - Трешлинка, Белжеца, Собибора и Хелмно - произошло лишь в шестидесятых годах прошлого века. Немаловажно было, что в Германии как раз в это время начались процессы над лагерными охранниками, и польские власти боялись быть скомпрометированными, если бы немецкий суд потребовал осмотра мест преступления<sup>1</sup>.

Одним из самых первых свидетельств о том, что происходило в Трешлинке сразу после войны, мы обязаны Михалу Калембасяку и Каролю Огородовичу, которые прибыли на территорию лагеря 13 сентября 1945 г. и отметили, среди прочего, следующее: "По прибытии на место мы убедились, что на месте, где находился лагерь, оказалось изрытое поле, перекопанное окрестным населением. Поле было так изрыто, что в некоторых местах были ямы до 10 м глубины, в которых виднелись человеческие останки - берцовые кости, челюсти и т.п. <...> Нынешнее состояние Трешлинка [так в оригинале. - Я.Г.] представляет большое поле, кое-где с зарослями деревьев. Все находившиеся там бараки сожжены или разграблены на чисто окрестным населением. Мы застали только остатки. О большом числе убитых тут людей свидетельствует факт, что выкопанные ямы десятиметровой глубины переполнены человеческими костями. <...>

Под каждым деревцом были дыры, выкопанные искателями золота и бриллиантов. Запах трупов и газа так ударил нас в голову, что у нас с коллегой началась рвота и жуткое царапанье в горле.

Продвигаясь дальше по территории, мы застали людей, которые копались в ямах, разрывая землю. На наш вопрос: "Что вы тут делаете?" - они ничего не ответили. На расстоянии от высшей точки (около 300 м), где раньше находился крематорий, мы заметили группу людей с лопатами, которые рылись в земле. Увидев нас, они начали убегать. <...> Чрезвычайно удивляет, что место, освященное мученической смертью миллионов невинных людей, до сих пор не было защищено от грабежа и алчности окрестной деревенщины. <...> На раскопке этой территории - каких-нибудь двух квадратных километров - должны были работать тысячи людей, потому что объем вырытых ям колоссален. <...>

Нужно упомянуть, что на территории, где находится Трешлинка, господствуют чудовищные отношения. Население, обогатившееся золотом, вырытым из могил, занимается грабежом и ночными нападениями на соседей. Мы пережили огромный страх, когда в одной халупе, в нескольких сотнях метров от той, где мы ночевали, женщину жгли огнем, добываясь таким способом, чтобы она выдала место, куда спрятала золото и ценности".

Похожее свидетельство о посещении Трешлинка в ноябре 1945 г. оставила Рахела Ауэрбах, направленная туда Главной комиссией по расследованию немецких преступлений. Она написала небольшую книжку о своих впечатлениях, а главу о деятельности "копателей" озаглавила "Польское Колорадо (вероятно, должно было стоять "Эльдорадо"), или Золотая лихорадка в Трешлинке". Юзеф Кермиш, дважды посетивший Трешлинка, также писал об окрестном населении, которое "целыми толпами копало песчаный грунт". Он упоминал также "советских мародеров", которые жгли на территории лагеря взрывчатые вещества, "бомбы из аэродрома Церанув", создавая таким образом "ямы огромной глубины <...>". В этих ямах было полно человеческих черепов, костей и еще не преданных земле останков".

Доминик Кухарек, копатель из Трешлинка, - которому было предъявлено обвинение в валютном преступлении, так как он продал в Варшаве бриллиант, найденный в Трешлинке, и купил золотые мо-



неты<sup>2</sup>, - в свое оправдание заявил, что "все" из его села ходили копать, а "о том, что поиск золота и драгоценностей на территории [бывшего] лагеря в Трешлинке запрещен, я не знал, потому что советские солдаты тоже ходили с нами и искали. Те места, где рассчитывали найти ценности, даже взрывали подрывными средствами".

Добавим, что копателей, по свидетельству очевидцев, было иногда по несколько сот человек, поэтому их деятельность придавала территории лагеря (размером со спортивный стадион) вид муравейника. Местное население продолжало раскопки непрерывно в течение десятков лет. "Первые работы по упорядочению и инвентаризации на территории лагеря начались весной 1958 года, - пишет современная исследовательница этого вопроса Мартина Русиняк, - и во время предварительного упорядочения бывало и так, что работники вместе с милицией присоединялись к искателям".

Сообщения из Белжеца очень похожи, за исключением того, что раскопки на территории лагеря (который, как и Трешлинка, был запахан немцами, засеян люпином и для завершения камуфляжа кое-где обсажен молодыми деревьями) начались еще во время оккупации. Когда

немцы об этом узнали, они угнали местных жителей и поставили стражника, следившего, чтобы следы их кровавой деятельности никогда уже больше не появлялись на поверхности земли<sup>3</sup>. Но как только стражник сбежал от наступающей Красной армии, местное население вернулось к прерванным поискам.

В отчете об осмотре территории комиссией, посетившей Белжец 10 октября 1945 г., среди прочего, читаем: "Согласно информации сопровождающих нас представителей министерства обороны с по-

ста Белжеца, описанное раскапывание территории лагеря осуществлялось окрестным населением, искавшим золото и бриллианты, оставшиеся от убитых евреев. На раскопанной площади лежат различные разрозненные человеческие кости: черепа, позвонки, ребра, берцовые кости, челюсти, каучуковые зубные протезы, волосы - в основном женские, часто заплетенные в косы; кроме того, куски сгнивших человеческих тел, как то: руки, нижние конечности маленьких детей. Сверх того, на всем вышеописанном поле лежат массы пепла от сожженных останков, а также остатки сожженных человеческих костей. Из глубоко разрытых ям доносится трупная вонь. Все это говорит о том, что территория лагеря вдоль северной и восточной границы представляет собой одну общую могилу убитых в лагере людей".

Заслушанный через неделю после посещения комиссии заместитель коменданта поста министерства обороны в Белжеце Мечислав Недужак разъяснил следователю, что "местная милиция после бегства немцев из Белжеца пыталась помешать раскапыванию территории лагеря, но это очень трудно: стоит прогнать одну партию, как тут же является другая".

Комиссия очень добросовестно выполнила свое задание и помимо заслушивания нескольких десятков свидетелей произвела осмотр территории. "Кладбище лагеря смерти" было раскопано в девяти местах, чтобы добраться до дна могил, в одном случае на 10 м вглубь. "Во время раскапывания всех ям установлено, что территория лагерного кладбища ранее уже была перекопана", а также что "в настоящее время территория лагеря полностью раскопана окрестным населением, разыскивающим ценности".

Копатели в основном работали поодиночке, не раскрывая своих планов друг перед другом, так как удачливый добытчик мог легко стать жертвой нападения других искателей (вспомним, что писали Калембасяк и Огородович о "чудовищных отношениях" в окрестностях Трешлинка). В Белжеце и Трешлинке забирали домой вырытые черепа, чтобы уже там, без свидетелей, "спокойно их обыскать".

Бывали и накладки, мешавшие неко-

торым работать, были более и менее золотоносные участки кладбища. Так называемый "банкир Белжеца", владелец местного кирпичного завода, например, имел команду "ныряльщиков в выгребную яму" - копателей, работавших в окрестностях отхожего места, откуда доставали исключительно богатую добычу. Скорее всего, евреи, лишившиеся надежды и понимавшие, что их ждет, последним жестом протеста бросали туда ценности, вместо того чтобы, как было приказано, отдавать их своим палачам<sup>4</sup>. В выгребной яме наткнулись также на маленькие скелеты, как можно предположить, утопленных там еврейских детей. Об эксплуатации же окрестным населением праха миллиона евреев, убитых в Освенциме, бывший работник Государственного музея Освенцим-Бжезинка пишет на интернет-форуме: "Эта сделка была основана на том, что под покровом ночи кули с прахом грузили на какое-нибудь транспортное средство, а потом промывали их в Висле. Да! Именно так, как делалось иногда во время золотой лихорадки на Диком Западе. <...> Не секрет, что все Плавы, Харменже и половина Бжезинки вымощены еврейским золотом. Еще долго после войны каждый день приезжали целые караваны с "урожаем" на "промывку", притом из очень отдаленных деревень".

В журнале лесного отдела, действовавшего в Подлясе через год после окончания войны, мы находим упоминание о "контрибуции" с населения, перекапывавшего прах евреев, убитых в Треблинке. Таким путем остатки "еврейского золота", не попавшие в казну рейха, через посредничество копателей укрепляли после войны бюджет антикоммунистического подполья. Грабеж еврейского имущества был существенным элементов циркуляции благ, составной частью структур социально-экономической жизни на этих землях, а тем самым - общественным явлением, а не отклонением от нормы у группы аморальных типов<sup>5</sup>.

**Из главы "Эксплуатация лагерей уничтожения окрестным населением во время войны".** Богдан Войдовский был одним из немногих писателей, которые укоренили в польской литературе образ копания в поисках "еврейского золота". Однако его рассказ конца 50-х гг. под названием "Нагая земля", напоминающим слова Василия Гроссмана, показывает, как трудно было писателю назвать это явление. Действие рассказа происходит после войны и представляет выкапывание на территории лагеря в Треблинке золота, скрытого в земле одним из местных крестьян. Читатель с трудом может представить себе обстоятельства, и самое ясное выражение того, о чем идет речь, - невнятные слова умственно отсталого пастуха, который подходит к копающим и говорит: "Жооолоото копаааете поосле жиинидов?" По этой фразе видно, что нормальный, "полный" язык не имеет слов, которыми такую деятельность (такое нарушение моральных границ) можно прямо назвать.

Вторая мировая война оставила в языке специфические слова: шамальцов-

ник<sup>6</sup>, мародер, аусвайс. Практика рытья лагерных территорий в поисках ценностей специального названия не имеет. Слово "копатели" не передает ужаса этого занятия - выкапывания и обыска гниющих человеческих останков. Другой термин - "дантисты" - использовался в Варшаве для обозначения людей, ищущих золотые зубы в черепах на еврейском кладбище<sup>7</sup>. Иногда можно встретить термин "канадари"<sup>8</sup>. Как известно, например, из рассказов Тадеуша Боровского, "Канадой" назывались работы по разгрузке транспортов, прибывавших в Освенцим и сортировке багажа убитых. Это термин из языка, получившего название *Lagersprache* (лагерный жаргон)<sup>9</sup>. Однако это выражение известно не всем, а его жгучая ирония плохо соотносится с сутью дела. Заключение, работавшие на "Канаде", часто тоже были обречены на смерть. Их наслаждение добром убитых должно было быть мимолетным.

Окрестности лагерей уничтожения действительно, по словам Рахелы Ауэрбах, были "польским Эльдorado", но не только в связи с послевоенными поисками, но и в результате хозяйственной деятельности во время войны. Обитатели соседних с лагерями местностей во время войны заметно повысили свое материальное благосостояние в результате торговли между персоналом лагерей и местным населением, приводя тем самым к "моральному и экономическому перевороту". О произошедших там переменах житель одного из имений неподалеку от Треблинки писал: "Соломенные крыши исчезли, сменившись жестью, и все село напоминало Европу, перенесенную в этот захудалый уголок Подлясы".

Что скрывается за этим замечанием наблюдательного крестьянина? Так вот, кроме созданной эсэсовцами небольшой obsługi Треблинки были там освобожденные советские военнопленные, в основном украинцы, приученные к своей новой роли в лагере для обучения в Травниках. Обычно их называли заимствованным из немецкого языка термином: вахманы, или "черные" (по цвету мундира). Эти молодые парни, которых там было около сотни, к которым немецкие коллеги относились с презрением и которые легко могли найти общий язык с жителями окрестных сел, стали желанными гостями в польских домах<sup>10</sup>. Главной причиной было то, что они располагали неограниченным количеством денег и ценностей.

Охранники Треблинки торговали с местным населением, покупая водку, вкусную еду и сексуальные услуги. Денежное вливание, которое таким образом получили окрестности лагеря, были несравнимы ни с чем, происходившим до тех пор. Ведь это явление основывалось не на частичном перехвате имущества местных евреев, более или менее доведенных до нищеты своими соседями-католиками, как в других местах Польши. В Треблинке, Собиборе и Белжеце было убито более полутора миллионов людей, в том числе население нескольких больших городов. И деньги и ценности, кото-

рые масса евреев, обреченных на смерть, взяла с собой в последний путь, надеясь, что в последний момент еще можно будет подкупить судьбу, в немалой части перешли в руки местного населения. Как писал инженер Ежи Круликовский из Варшавы, направленный в этот район во время войны для строительства железнодорожного моста, "ручные часы продавались в то время дюжинами, так что местные крестьяне носили их в кошелках для яиц - в подарок новопривышам".

Пер. с польского  
Леонида Мосионжника

<sup>1</sup> Добавим к этому, что ни в Хелмно, ни в Собиборе, ни в Белжеце на выставленных памятных надписях не упоминалось, что жертвами массовых убийств в этих лагерях были евреи.

<sup>2</sup> По данным Мартыны Русиняк, это был единственный случай судебного преследования лиц, перекапывавших территорию лагеря в Треблинке.

<sup>3</sup> Белжец был первым лагерем смерти, который закрыли и запахали; в июле 1943 г. оттуда выехала последняя партия евреев, приводившая территорию в порядок. Их привезли в Собибор, где не позволили выйти из вагонов и перебили на платформе.

<sup>4</sup> Информация от директора музея в Белжеце Роберта Кувалки. Во время археологических работ в Белжеце, проведенных в 1997-1999 гг., была найдена табличка, находившаяся, вероятно, в бараче, где евреев сортировали для отправки в газовые камеры ("для купания и ингаляций"). Помимо прочего, там была написана следующая фраза: "Деньги, ценные вещи и документы до сдачи в окошко следует держать при себе и не выпускать их из рук". Другой находкой археологов было 300 фрагментов бетонных кружков диаметром 6 см и толщиной 1 см с выбитыми в них пятизначными числами. Их назначение неясно, но можно предположить, что их выдавали в качестве номерков в обмен на депозит, поддерживая тем самым заблуждение, что после "купания" его можно будет взять назад. Кружки эти были настолько массивны, что после уничтожения транспорта евреев их можно было легко собрать, очистить и использовать при убийстве следующей группы жертв.

<sup>5</sup> В интернете находим следующий отрывок из хроники отдела 6-й Виленской бригады АК, переданный Гжегожем Вонсовским: "2.11.1946. Приближаемся к знаменитой Треблинке. По сообщениям населения, постоянное раскапывание и ограбление трупов дошло до последних границ озверения. Вырывают зубы и целые челюсти, отрезают руки, ноги, головы, чтобы добыть крупицу золота. Профанация, а власти не предпринимают ничего для охраны этого единственного в своем роде кладбища, на котором покоятся больше трех миллионов [цифра завышена. - Г.В.] евреев, поляков, цыган, русских и других национальностей. 3-4. II.1946. Хмельник. Мы в 3 км от "лагеря смерти". Опрос, проведенный в "лагере", подтвердил сведения о профанации. Вечером 4.11. 1946 едем в деревню Вулка-Окронглик для карательной экспедиции

против искателей золота в Треблинке". В течение двух ночей (с 4 на 5 и с 5 на 6 февраля 1946 г.) 6-я Виленская бригада АК, насчитывавшая в то время несколько десятков человек, отправляла на территорию патрули, чтобы унять деморализованных соотечественников, занятых позорным промыслом осквернения останков жертв гитлеровского лагеря смерти в Треблинке ради поиска золота и других ценностей. Виновные, схваченные партизанами, были наказаны кнутами.

<sup>6</sup> "Шмальцовать" (буквально "вытапливать жир") - шантажировать евреев доносом на них гитлеровским властям. - Прим. перев.

<sup>7</sup> Владка Мид описывает в воспоминаниях, как непосредственно после войны пришла на еврейское кладбище в Варшаве, чтобы разыскать могилу своего отца. Кладбище было разорено, "с опрокинутыми надгробиями, оскверненными гробами и разбросанными вокруг черепами, человеческими черепами <...>. Хотя и знаешь, что это были следы упорной деятельности так называемых "дантистов" - поляков, искавших золотые зубы во рту еврейских трупов, - ощущалась какая-то странная вина, глубокое унижение, стыд, что и ты принадлежишь к породе, называемой родом человеческим".

<sup>8</sup> В интервью для "Тыгодника повшехного" от 28 января 2009 г. Марек Куця говорил: "Еще в восьмидесятые годы на лагерной территории действовали так называемые канадари, которые перекапывали землю возле крематориев и мест, куда сбрасывали останки жертв, в поисках золота". Интервью состоялось после кражи знака, висевшего над входными воротами лагеря. Профессор Куця сказал, как бы объясняя соображения "канадарей": "Но это были искатели сокровищ, которые разыскивали ценности и потом сбывали их на рынке. Но я не слышал о попытке кражи экспонатов из Музея".

<sup>9</sup> Поскольку узники приезжали, готовясь к переселению, они обычно брали с собой еду, ценности, деньги - все то, что предусмотрительность подсказывала им взять с собой. Когда их высаживали (это тоже эвфемизм: следовало бы сказать - когда их вышвыривали из вагонов, когда у них отнимали имущество и одежду, сортировали и отправляли на смерть), работающий заключенный мог при такой okazji наесться, одеться, обогатиться.

<sup>10</sup> Две женщины, допрошенные следственной комиссией в Белжеце, показали, что вахманы регулярно приходили к ним домой на обеды. О том, что немцы относились к вахманам как к "недолюдкам", наказывали их плетью, отбирали на ночь карабины, пишет в воспоминаниях, например, Мечислав Ходзько. О бегстве украинских охранников с оружием и о том, что позже эсэсовцы не давали украинским стражникам автоматического оружия, пишет также Тойви Блатт, узник Собибора, который участвовал в восстании и сумел дожить до конца войны. Добавим также, что "немцы в свободное от службы время, работая через день, имели много свободного времени. Они ходили по окрестностям, навещали крестьян".

# ЕВРЕЙСКОГО ИВАНА ДЕНИСОВИЧА ЗВАЛИ МОРДЕХАЕМ ЭЛИМЕЛЕХОВИЧЕМ

Белла КЕРДМАН

Он умер в июне 2000 года, за год до своего девяностолетия. В сионистских кругах - сперва в Польше, а затем и в Союзе, куда семья бежала в начале Второй мировой войны, у него была кличка Мотек. В ГУЛАГе, а сидел он в общей сложности более двадцати лет, его называли кто Мишей, а кто Михал Михалычем. На двери помещения, которое они с женой последние годы занимали в доме престарелых, где мы познакомились, висела табличка: "Рута и Маркус Ротман". Это был поздний, уже израильский брак с репатрианткой из "русских".

Так вышло, что судьба Мордехая Ротмана, простого еврейского парня, столера по ремеслу, пересеклась с судьбой бывшего учителя, разжалованного артиллерийского капитана и будущего русско-го классика Александра Солженицына. Примерно год они обретались в одном бараке лагеря усиленного режима в Карагандинской области Казахстана. Того самого "Степлага", где был прожит известный ныне всему миру "Один день Ивана Денисовича". День условный, если вести речь о повести. И своего героя (его прототип) писатель высмотрел не в заключении, а на фронте - был там такой солдат Шухов, никогда, кстати, не сидевший. Так что не будем искать в художественном произведении следов знакомства автора, Александра Исаевича с солагерником Мордехаем Элимелеховичем. Но условия, в каких они прожили этот год (1950-1951) в лагере - те самые. Заметим еще: если на Ивана Денисовича, отбывавшего свою "десятку", лагерных дней пришлось (заглянем в самый конец повести) "три тысячи шестьсот пятьдесят три - из-за високосных годов - три дня лишнего набавлялось...", то на мастерового еврейского человека Мордехая Авимелеховича, соответственно его срокам их набегало раза в два больше...

В 1981 году в Израиле вышла на иврите книга журналиста Эзры Ривлиса "Железо за занавесом". Это документальная повесть о судьбе польского еврея Мотека Ротмана - сиониста, сохранившего и за "железным занавесом" твердость характера и верность своим убеждениям. Пятнадцать лет спустя книга была переведена на английский и издана в Канаде. Русского перевода, к сожалению, нет.

Я узнала о Мордехее Ротмане от доктора физики Анатолия Бурштейна из Института Вейцмана - они познакомились в больнице, случайно оказавшись сопалатниками. Много разговаривали - русский язык Мотек знал прекрасно. Пересказав коротко историю этого своего знакомого, Анатолий снабдил меня его телефоном. И я, условившись заранее, отправилась в "Ахуад-Ришони" - дом престарелых в городе Ришон ле-Ционе.



Дом впечатлил огромными размерами и обстановкой солидного отеля. И тут же последовала осечка: на мой звонок из холла номер Ротмана не ответил. Жена, я знала, на работе, но сам-то обещал быть! Бойкая аборигенка ввязалась помогать. "Меня зовут Сара, - представилась, - и я большая специалистка находить мужчин!". Она пишет записку, что господина М. ждут в лобби возле рецепции, прикрепляет ее к двери, после чего мы спускаемся в межэтажный холл, где она усаживает меня ждать. Время от времени подвигаюсь к номеру - никого. Толстяк, вышедший из соседней двери, спрашивает на идиш, зачем мне Маркус, - я ему родственница? Нет, говорю, хочу о нем написать статью. "Так пиши о ком-то другом, здесь мало старых евреев?" - смеется.

И тут появляется ликующая Сара, а с ней некто в спортивном костюме. "Это он!" - кричит еще издали. - Я подходила к каждому встречному и спрашивала: ты Мордехай?" Ротмана она нашла в отделении банка, что внизу. Его задержал чиновник с оформлением какой-то бумаги, накладка вышла, - извиняется Мотек...

На полке в гостинной экземпляр "Железа за занавесом" на иврите и два английских, один из которых я получаю. Снимаю с той же полки аккуратно обернутый томик. Солженицын. С дарственной надписью: "Незабываемому Михаилу М., который в самых тяжелых днях испытания оказался настоящим человеком и другом для всех. Леша". Почему "Леша"? Оказывается, именно так называли бывшего артиллерийского капитана в лагере, - не Сашей, а Лешей. Книгу "Михаил М." получил, когда они с "Лешей" встретились в Швейцарии в восемьдесят... не вспомнить точно каком году, Ротман был уже гражданином Израиля, с 1969-го.

Родился Мордехай бен Элимелех в 1913-м на Украине, в городе Умани. Когда ему было года два-три, родители переехали в Польшу. Так что в школе он учился на польском, но русский язык знал

всегда, - в доме на нем говорили. В начале Второй мировой войны Мотек Ротман бежал из оккупированной Польши в Вильно, занятый к тому времени Советами. А когда немцы вступили в Литву, отправился вглубь России. С юности связанный с движением "А-Шомер а-цаир", он не только теоретически привержен был идее сионизма, но и, как требовал один из основных принципов этого молодежного движения, работал на нее практически. Вместе с другими "молодыми стражами" Мотек готовился сам и готовил еврейских ребят к переселению в Палестину, к работе на полях и фермах киббуца. Мечтой и целью всей его жизни было еврейское государство.

Мордехай Ротман активно участвовал в спасении евреев Польши от немецких оккупантов, помогая им бежать на территорию СССР. Он дружил с одним из лидеров еврейского молодежного движения Мордехаем Аниловичем, одним из будущих командиров восстания в Варшавском гетто. Они вместе намеревались вернуться из Вильно в оккупированную Польшу, чтобы наладить там подпольную сеть "Молодых стражей". Однако Мотек получил другое задание: активизировать работу движения в Союзе, среди польских беженцев. Их было тогда два миллиона человек, половина - евреи. Многие оказались в Ташкенте, этой "Мекке" эвакуации. Мотек прибыл туда с группой соотечественников - молодых сионистов без денег и документов в сентябре 41-го. Он вспоминал в нашей беседе, как искали своих: присматривались к одежде и лицам новоприбывших на станциях, вслушивались в еврейскую и польскую речь, тихо насвистывали сионистский гимн (слова на иврите написаны Бяликом) и наблюдали за реакцией. Сеть ячеек "А-Шомер а-цаир" разрасталась.

Мордехай Ротман рассказывал, что и в условиях эмиграции они, молодые сионисты, придерживались принципа жить собственным трудом. Если другие бежен-

цы могли торговать на черном рынке, позволить себе сомнительный "гешефт", а кое-кто опускался до мелкого воровства, то эти ребята, спаянные взаимопомощью, не отказывались ни от какой работы, в том числе в колхозах. Шоферы, механики, плотники, сборщики хлопка - им все годилось! Они стремились в еврейский ишув Палестины и готовы были пройти через войну с фашистами, присоединившись к Войску польскому. Ходили слухи о возможности попасть в армию Сикорского, формировавшуюся на территории Союза, - увы, лишь слухи. Позднее Мотек встретился с генералом Андерсом, - нельзя ли вступить в его армию? - но тот был настроен против сионистов. Оставалось пробираться к своим нелегально, кружным путем, - через иранскую или афганскую границу.

Они понимали, что этот путь опасен, но нужно было действовать. Один из активистов подпольного сионистского движения среди беженцев, Шмуэль Ткач предложил обратиться напрямую к товарищу Сталину с просьбой о легальной эмиграции в Эрец-Исраэль. Эта наивная попытка оказалась безнадежной, - ведь из Советского Союза евреи "не хотели" уезжать. Так что взялись за афганский вариант, как наиболее реальный. Ткач свел Мотека с контрабандистом евреем Яновым. Выяснили: граница - в 600 км к югу от Ташкента, дорога занимает два дня, затем предстоит переправа на другой берег Аму-Дарьи. И стоит это будет 10 или 20 тысяч рублей с человека, желательно, - в новых долларах. Где взять деньги? Попросить у богатых беженцев, были и такие. Вторая возможность, - взять ссуду в Ташкенте, опять же у богатых людей, а вернуть по прибытии в Палестину, - помогут разные еврейские фонды. Что этот Янов был агентом НКВД, они узнают, к сожалению, слишком поздно.

На советской стороне границы этот человек имел чайную, где можно было отдохнуть, переночевать, - вспоминал Мордехай Ротман. - По другую сторону, на афганской территории он передавал евреев в руки своих знакомых проводников, которые должны были переправить их дальше. Первая группа беженцев, отправившаяся к границе в декабре 41-го года, прошла благополучно. Удалась переправка и второй - уже в начале 42-го. А дальше случилась беда: "надежные люди" Янова на территории Афганистана ограбили партию беженцев и сдали их НКВД.

В книге "Железо за занавесом" этот эпизод описан довольно подробно. Когда две группы евреев были готовы к побегу в Палестину, Мотек решил проводить их до границы и пошел к Янову за билетами на поезд для себя и Меира, 22-летнего активиста движения. Там он застал довольно много людей, которых хозяин представил как своих гостей. По пути к границе



Ротман остановился в городке, где жил Меир, и вместе с ним и его группой из 20 "молодых стражей" двинулся дальше. На железнодорожной станции Термез их ждал Янов. Друзья простились: Меира и его ребят забрал Янов, а Мотек остался. Утром он получил сообщение: "Все прекрасно", что означало провал операции. Провалился таким же образом и переход следующей группы. Однако Мотек не сразу понял, что Янов - агент НКВД и что "го-сти", которых он у него случайно застал - из той же конторы. Он помнил, что Янов предлагал иранский вариант перехода границы, если не удастся афганский, и не порвал с ним связи.

И однажды Мордехая Элимелеховича Ротмана, гражданина Польши, 29-и лет, пригласили в министерство иностранных дел. Он полагал, по вопросу польских беженцев, которыми он занимался, в том числе и легально, будучи связан с Еврейским агентством (Сохнутом). Оттуда его уже не выпустили - отправили "мотать срок" по лагерям: Джезказган, Актюблаг, Степлаг, Челябинск... Забрали в 42-м, а выпустили в 61-м. И он уехал в Харьков, где жила его знакомая, также прошедшая через ГУЛАГ, которую освободили вскоре после смерти Сталина. Она помогла ему прописаться в этом городе. Справку о реабилитации Мотек получил из Верховного суда Узбекской ССР в июне 65-го. Однако еще до этого он съездил в Ташкент, где был арестован 20 лет назад. Его ждало сильнейшее разочарование: никого из "молодых стражей" там уже не было, все давно уехали, а куда - неизвестно. "Очевидно, в Палестину, теперь Израиль", - услышал он в Сталинабадском университете о своих друзьях супругах Персиковых.

И началась долгая, изнурительная борьба Мордехая Ротмана, узника ГУЛАГа, за возвращение домой. После двадцати лет лагерей его еще муржили в отказе, унижали издевательскими отговорками, не отпуская в Польшу, откуда он рассчитывал выбраться в еврейское государство.

Обратимся, однако, к главе книги "Железо за занавесом", которая называется "Леша" - о лагерном годе, общем с Солженицыным. Однажды вечером Мордехай заметил в столовой, в самом конце очереди, новенького. Он был сдержанный, с сердитым лицом. Звали Лешей.

Отнеслись к нему, как обычно к новичкам, которые еще не делали "норму" - дали минимум еды. Он съел свой суп быстро и молча. Мотек, к тому времени помощник бригадира, дал новенькому свою деревянную ложку и пошел за спецовкой для него. Поскольку израильтяне, как и канадцы, понятия не имеют, что такое лагерная униформа, ивритский и английский тексты книги содержат подробное ее описание: "одежда из тонкой ткани вдвое плюс ватная прокладка посередине" - это легитимный для русского читателя "ватник"; "шерстяные сапоги" - иного названия валенок, вероятно, в английском нет, и т.п.

Леша, рассказывал Ротман, не старался познакомиться со старыми, авторитетными зеками, вообще разговаривал мало, был сосредоточен на своих мыслях. О своем прошлом говорить первое время не хотел, но в бригаде вскоре узнали, что он в гражданской жизни был школьным учителем математики, а на войне - капитаном артиллерии. Арестовали его, когда воевали уже в Германии. Позвали в штаб и не выпустили - держали в подвале, потом привезли в Москву и обвинили во вражеской пропаганде, а он всего-навсего покритиковал артиллерийское начальство за конкретные ошибки! Зека Солженицын был членом партии, лояльным к системе, как утверждал сам во время коротких бесед с другими лагерниками, но вот проблема: режим сажает на базе фальшивых обвинений, это большая ошибка. Он рассказывал, что после допросов сидел в центре Москвы с другими арестованными учеными и специалистами, - как Мотек понял, там готовились разработки для "послевоенной реконструкции". К концу заключения Леше добавили срок и отправили в лагерь усиленного режима, "чтобы не позволить ненадежному человеку выдать государственные тайны".

Солженицын был в мире с собой, сестливым, хороший работник, - вспоминает Мотек. Он сблизился с ним и другим евреем - Семеном Бронштейном, их бригадиром, инженером-строителем. Они строили лагерь, строили атомный центр глубоко под дном озера. Это был очень тяжелый физический труд. Однажды Мотек рассказал Леше о сионистском движении и о своих связях с Эрец-Исраэль. Ему показалось, что этот

русский человек знает о предмете разговора больше, чем хочет показать. Это было как бы сознательное отстранение от еврейской темы. Иногда, правда, он проявлял интерес к отдельным ее деталям. Отношение будущего писателя к евреям было нейтральным, по тогдашнему наблюдению Ротмана. Проблемы этнического меньшинства его вообще не интересовали, однако он был чувствителен к любой гуманитарной проблеме. Когда Мотек признался Леше, что испытывает отчаяние оттого, что сидит без вины, и что мечтает уехать в Палестину, тот ответил: "Любая нация имеет право на отечество", но развивать эту тему не стал.

В одну из зимних ночей Мотек видел, как Леша плакал, скупными словами рассказывая историю своей жизни. Вспомнил, что следователь назвал его врагом коммунизма, хотя он был коммунисту верен. "Вместо того, чтобы дать мне воевать с врагом, меня самого врагом называли", - сокрушался будущий писатель. Он верил, что советский режим "исправится" и что распространение коммунизма в Европе неизбежно.

Во время нашей беседы в его обители в Ришон ле-Ционе, 89-летний Мордехай Ротман рассказал, что однажды на слова Александра Исаевича, - мол, скорее бы им снова стать полноправными гражданами Родины, он резко ответил: "Это не моя Родина, не мой дом!". Во время встречи в Швейцарии русский эмигрант Солженицын напомнил израильскому гражданину Ротману, как удержал его от одной бунтарской выходки, посоветовав: "Сиди тихо и жди, когда сможешь вернуться в Польшу, иначе они тебя тут прикончат".

- Я не был уверен, что Леша любит евреев, - сказал Мордехай. - Иногда в его высказываниях даже звучал упрек: мол, евреи умеют устраиваться...

Когда читаешь книгу А.И.Солженицына "Двести лет вместе" и многочисленные отклики на нее в прессе, просто диву даешься: как тонко почувствовал и точно оценил отношение будущего большого писателя к русско-еврейской проблеме еще полвека назад "простой советский заключенный" - узник Сиона М.Э.Ротман. Не буду сейчас продолжать тему "русский патриот Солженицын и еврейский вопрос". Скажу

лишь: если не видеть, как творится новейшая история сегодня, буквально на глазах, - как зарождаются у современников в наших палестинах и их европах все эти мифы насчет "резни в Дженине", "блокады еврейской военщиной христианской святыни в Вифлееме" и пр. - впору в отчаяние впасть, читая этот сплошной цитатник, эти заковыченные Александром Исаевичем "свидетельства современников" о подлости и неблагодарности евреев!

Вернемся к истории польского еврея Мордехая Ротмана. После освобождения из лагеря он работал в ремонтно-строительном тресте в Харькове. Связываться с официальными израильскими организациями было опасно, и Мотек переписывался с друзьями из кибуцев "А-маарив", "Нир Давид" и "Яд Мордехай". Это были призывы SOS - он рвался домой, в еврейскую страну. Попытки прорваться через Польшу долго не удавались. "Вы же советский гражданин", - говорили ему в "органах". Мотек решает от этого гражданства отказаться. Однако за такое счастье надо было заплатить огромные по тому времени деньги - 500 рублей! Неожиданно для себя человек из израильского посольства в Москве эту сумму передал. Не сразу уладились с польским посольством, хотя друзья-кибуцники нашли для него в Варшаве "сестру", якобы уцелевшую в Катастрофе (на самом деле погибла вся семья Ротманов).

В декабре 64-го было получено, наконец, разрешение вернуться в Польшу. Покидая СССР, Мордехай положил в свой чемодан произведения классиков марксизма-ленинизма, а также Толстого и Горького - дабы продемонстрировать свою лояльность, маленькая такая хитрость простодушного человека. По прибытии в Варшаву он посетил израильское посольство. И в этих стенах, показавшихся сразу родными, "железный Мотек" разрыдался. Его долго не могли успокоить, слезы все текли по крупному лицу немолодого уже мужчины.

В Израиль он прибыл в конце 69-го, в возрасте 56 лет. ГУЛАГ подорвал его здоровье, лишил возможности создать семью, - свою личную бездетную жизнь сам Мордехай назвал "суррогатной". На родине предков, куда он так стремился, Ротман хотел обосноваться в кибуце "Яд Мордехай", названном в честь его друга Аниевича. Но мечта о кибуце оказалась только мечтой, - он разочаровался в ее реализации. Переехав в Рамат-Ган, стал работать с Сохнутом, продолжил главное дело своей жизни: организацию алии евреев из Восточной Европы.

Что стало наградой этому человеку за мужество и жертвенность его жизни? Звание почетного гражданина Израйля, которое присвоено Мордехая Ротману? Крушение империи зла, за железным занавесом которой прошли его молодые годы, - ведь он тоже расшатывал ее изнутри? Большая алия, для которой он лично немало сделал? Ах, Александр Исаевич, ваша правда, умеют евреи устраиваться! Вот хотя бы этот ваш солагерник Мотек Ротман, которого в "Степлаге" называли Михал Михальчем...

# А ГОДЫ УХОДЯТ, УХОДЯТ...

Отрывок из неопубликованных воспоминаний

**Геннадий КРАСУХИН**

В моей трудовой книжке записано: "Освобожден от работы в Комитете по кинематографии СССР согласно поданному заявлению. 29.01.1965 г.". А в заявлении я указал причину: просил освободить меня от работы по собственному желанию.

Но оказалось, что я погорячился. По собственному желанию уходят, уже найдя себе место, на которое почему-либо не дает согласие на перевод твоя служба. Или пенсионеры. Если же ты ушел, чтобы нигде не работать, ты совершаешь преступление, вполне подсудное, потому что можешь быть объявлен тунеядцем.

У людей творческих такое нехождение на службу называется "работой на вольных хлебах". Но творческим человеком тебя должно признать государство. А признавало оно творческими людьми членов Союзов писателей, художников, композиторов, кинематографистов и членов некоторых творческих группировок.

Я поспешил вступить в группировку литераторов при издательстве "Советский писатель". Вступить в группировку было легко: нужно было представить свои печатные работы и две рекомендации от членов группировки или Союза писателей.

Все это я представил, членом группировки я стал, но это никак не решало наши семейные финансовые проблемы.

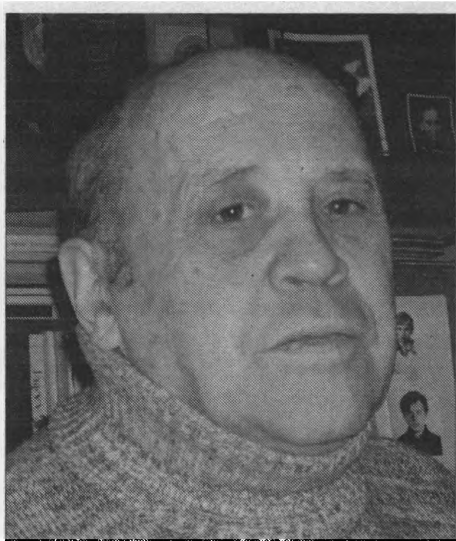
Обычно, уходя на вольные хлеба, люди имеют некую сумму, которую скопили на сберкнижке, и размещают в печатных изданиях собственные произведения, которые обеспечивают им первые месяцы безбедного существования.

Ничего подобного у меня не было, и ничего подобного я не сделал. Поэтому бросился писать в газеты - в "Учительскую", в "Комсомолку", в "Московский комсомолец", в "Московскую правду", в "Литературную Россию". Но это были очень небольшие заработки.

Словом, капризы фортуны, перепады ее настроения заставляли меня искать штатную работу. Это оказалось очень тяжелым делом. Поиски шли долго, пока мне не сказали, что журнал "Семья и школа" ищет человека на место заведующего отделом литературы. И ответственный секретарь журнала Гелазония назначил мне встречу.

Работать с ним оказалось легко и приятно, прежде всего потому, что мы были единомышленниками и хотели печатать хорошую литературу.

В первые же дни связался с Майей Ганиной, Еленой Ржевской, Виктором Драгунским, Булатом Окуджавой, Владимиром Амлинским, Андреем



Битовым, Борисом Балтером, Львом Кривенко (с подачи Балтера), Олегом Чухонцевым, Варламом Шаламовым (с подачи Чухонцева), Василием Аксеновым, Юрием Трифоновым, Наумом Коржавиным, Станиславом Рассадным, Бенедиктом Сарновым, Максом Бременером, Евгением Винокуровым, Юрием Левитанским, Давидом Самойловым, Владимиром Корниловым, Эльмирой Котляр. С большинством из них я знаком не был. Но почти все отозвались. Материалы давали охотно. Я ездил к авторам домой. Иные приезжали ко мне. Со многими из них у меня на всю последующую жизнь сохранились хорошие, а то и дружеские отношения. Невзирая на то, что далеко не все из принесенного мной в журнал удалось напечатать. И на то, что напечатал журнал далеко не всех моих будущих друзей.

Ну, Булата Окуджаву, положим, я знал еще по литературному объединению "Магистраль". Там с ним и подружился. Повесть для "Семьи и школы" дал мне, присовокупив усмехнувшись: "Она как раз о семье и школе". Хотя убежденно сказал: "Вы это напечатать не сможете!"

"Посмотрим!" - отозвался я.

Петя Гелазония прочитал и загорелся: "Напечатаем! Надо только, чтобы он убрал эту фразу". Он подчеркнул карандашом фразу, где сельский учитель открывает своему коллеге - герою повести, что директор их школы спал с одной из учениц-переростков.

Я передаю Булату. Тот задумывается: "Но ведь все ясно и без этой фразы?" - "Ну и убери ее", - говорю. "И они напечатают?" - сомневается Булат. "Обещают", - отвечаю. "Ну коли так, то вычеркни. Это не меняет сути".

Ах, прекраснотдушный Петр Ильич! Уже Владимир Михайлович Померанцев долго раздумывал над повестью "Новенький как с иголочки", прежде чем решил ее поддержать. А главный редактор Алексей Георгиевич Орлов,

ознакомившись с ней, сказал нам плачущим голосом: "Да вы смеетесь, что ли? Как это печатать? Такой мрачный колорит!"

- Вам не понравилось? - спросил Петя.

- Понравилось, - вздохнул Алексей Георгиевич. - Но это не для нашего журнала.

- Почему? - удивился Гелазония. - Повесть о сельской школе.

- Петр Ильич! - строго сказал Орлов. - Вы что действительно не видите, что повесть непроходима?

- А по-моему, могут пропустить! - Петя говорил уверенно. - Повесть ведь о послевоенном сталинском быте. А о нем сейчас и не такое печатают.

- Все-таки стоит попросить автора как-то высветлить колорит, - полусдвинулся Орлов.

Померанцев согласился пройтись по тексту, подумать, как убавить мрачности и предложить автору что-то конкретное.

Через некоторое время правленая Булатом повесть снова легла на стол Орлова. Но тот для подстраховки распорядился, чтобы с ней ознакомились все члены редколлегии.

Мы с Петей сникли: для повести такое решение было убийственным. Редколлегия журнала состояла в основном из догматиков и обскурантов. Владимир Михайлович Померанцев был в ней, так сказать, лучом света в темном царстве.

Никакие его доводы на Орлова не действовали. Тот стоял на своем: напечатать, если даст добро редколлегия.

Что было дальше, наверное, понятно: повесть в журнале не появилась. Непонятно только, зачем редколлегия решила известить Окуджаву, что его вещь не вызовет желания молодых учителей ехать преподавать в сельские школы.

Что Булату было послано такое письмо, мне никто не сказал. Зато его резкий насмешливый ответ я прочитал. Я не призывал, писал Окуджаву, молодых энтузиастов ехать в сельскую школу, в деревню. Тем более - в деревню 1953-го года, о которой идет речь в повести.

Страшно разозлила меня эта история: ну для чего потребовалось морочить голову автору. И не честнее было бы заключить с ним договор, выплатить аванс, а потом уже заставлять его работать над повестью по конкретным замечаниям для журнала?

А стихи Олега Чухонцева? Они понравились всем в редакции своей удивительно живой, искренней интонацией. Причем Орлову не меньше, чем Померанцеву. Но если у Владимира Михайловича и тени сомнений не возникло, что их нужно напечатать, то Алексей

Георгиевич категорически заявлял, что эти стихи не для "Семьи и школы".

- Почему? - спрашивали у него.

- Очень пессимистичны! Наш читатель не примет такого осмысления жизни.

- Алексей Георгиевич, - сказал ему Померанцев, - есть такое понятие: катарсис.

- Ну и что из этого? - спросил Орлов.

- Не печатать такие стихи - значит лишить наших читателей возможности очиститься, страдая вместе с поэтом, сострадая ему. Это очень гуманные и невероятно мудрые стихи. Можно только удивляться, - восхищенно говорил Померанцев, - откуда у этого молодого человека такое глубокое знание жизни. Нет, стихи Чухонцева непременно должны появиться в нашем журнале, - заключил он. - Они станут гвоздем номера.

Чего нельзя было отнять у Орлова, так это любви к хорошей литературе. Конечно, он понимал, что на фоне скучных очерков о семейном воспитании или о роли пионервожатых в укреплении школьной дисциплины стихи Олега прозвучат, как мелодичная музыка, прервавшая надоевшую всем пластинку и потому особенно привлекательная.

Но, руководитель старой формации, Орлов знал, с каким недоверием относятся к таланту наверху и как воспримут там талантливую вещь, лишенную казенного советского оптимизма.

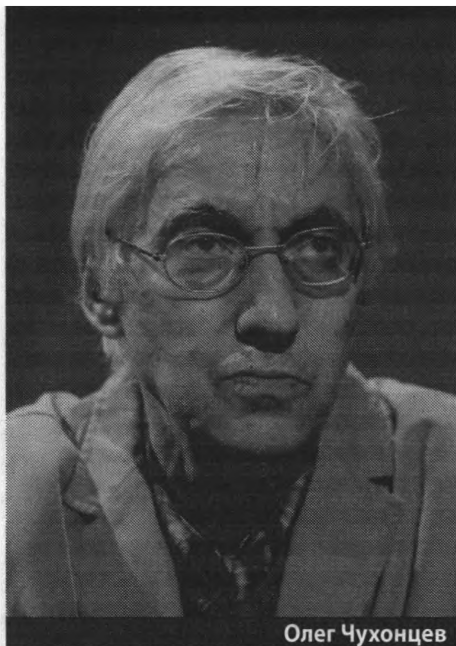
Он и здесь попытался вынести вопрос о публикации на редколлегию. Но Владимир Михайлович решительно этому воспротивился.

"Я не возражал, - говорил он, - чтобы редколлегия рассматривала повесть, произведение большого жанра, которое заняло бы несколько номеров. Но несколько стихотворений поставить или не поставить в номер - решать нам с вами. Я курирую литературу, и если вы мне не доверяете..." - "Да Бог с вами, Владимир Михайлович, - прервал Померанцева Орлов. - О каком недоверии может идти речь? Мы с вами работаем слаженно и продуктивно!"

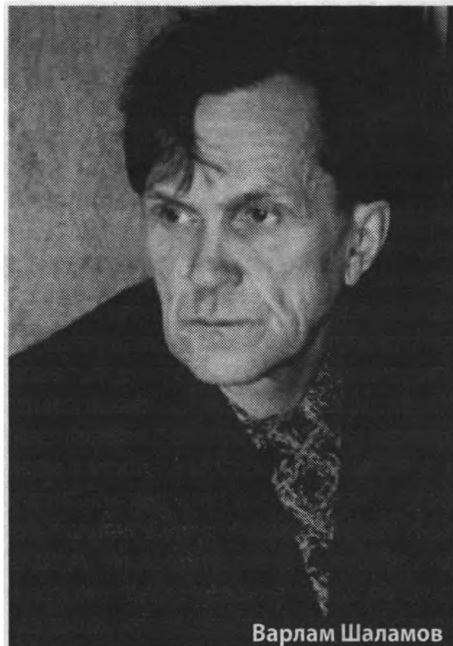
Демарш Померанцева удался: стихи Олега в журнале появились. И, как я писал в "Стежках-дорожках", не из-за них спешно собралась коллегия Министерства просвещения, на которой присутствовал президиум Академии педнаук, где гневно выступил сам министр.

Но, разумеется, ни в министерстве, ни в Академии этим стихам тогда не обрадовались, о чем вспоминали потом на той коллегии.

Когда стихи появились, я был счастлив. Читал и показывал их многим знакомым. Все ахали: как же удалось такое напечатать?



Олег Чухонцев



Варлам Шаламов

Что еще хорошего мне удалось толкнуть в печать в этом журнале? Рассказ Елены Ржевской, которую мы с женой оценили и полюбили еще за повесть "Земное притяжение", напечатанную в 1963-м году.

Рассказ Майи Ганиной "Дядя Женя". Она дала его мне и сказала: "Ты уверен, что его надо показывать начальству? Ведь оно его все равно не напечатает!"

То есть вела себя, как Окуджава. И ей, как Окуджаве, я ответил: "Посмотрим!"

В рассказе речь идет о нашем бойце, попавшем в гитлеровский плен и не захотевшем вернуться на родину. Повествовательница встретила его в Норвегии, где он рассказал ей о своей жизни, о жизни его новой норвежской семьи. Материально он не нуждается, но интерес к родине не пропал, хотя желания вернуться он не высказывает.

Да и куда он вернется, если для его семьи родина - Норвегия.

Долго размышлял Орлов, прежде чем подписать рассказ в печать. Но подписал.

Напечатал я стихи Варлама Шаламова, с которым потом лет пять-шесть дружески общался. Впервые придя ко мне домой и усаживаясь, он улыбнулся и спросил, знаю ли я, чем знаменита типография, расположенная напротив моего дома. Я ответил: мне известно, что некогда она носила имя Бухарина и что нынешнее имя "Искра революции" она получила позже.

- В ней было напечатано завещание Ленина съезду, - сказал Шаламов. - С этого я начал мотать свой срок.

Оказалось, что, учась в МГУ на факультете права, Варлам Тихонович подрабатывал корректором и вычитывал в типографии гранки письма Ленина XIII съезду РКП(б), названного завещанием Ленина, потому что к открытию съезда в 1924 году Ленина уже не было в живых. Сталин добился, чтобы ленинское письмо было прочитано делегатами приватно. О публичном его обсуждении на съезде не упоминалось. Не было его и в опубликованных материалах съезда. Но перед XV съездом в ноябре 1927-го года ленинское завещание напечатали в "Дискуссионном листке" -

приложении к газете "Правда" - и в бюллетене съезда ВКП(б). И то, и другое было сделано вопреки решению XIII съезда ленинского письма не публиковать. Репрессии последовали в год "великого перелома", когда Сталин ломал хребет стране, - в 1929-м. Всех, так или иначе причастных к появлению письма, арестовали. Беспартийного Шаламова обвинили в участии в подпольной троцкистской группе и в распространении письма.

Рассматривавшее его дело Особое совещание при ОГПУ имело в то время право приговаривать к заключению в лагерь до трех лет. Три года Шаламов и получил. Отбывал наказание в Вишерском лагере на Северном Урале.

В 1932-м Варлам Тихонович вернулся в Москву, работал в органах печати. Писал рассказы и стихи. Опубликовал свой первый рассказ "Три смерти доктора Аустино" в 1936-м году в журнале "Октябрь". Но в январе 1937-го года он, уже имевший клеймо "троцкиста", был вновь арестован "за контрреволюционную троцкистскую деятельность", приговорен к пяти годам и послан на тяжелейшие работы в лагерь на Колыме. Лесоповал, прииски - все это приводило к тому, что Шаламов неоднократно оказывался на больничной койке.

Во время войны заключенных не освобождали. Дела тех, у кого вышел срок, рассматривало опять-таки Особое совещание при НКВД (позже - в связи с переименованием ведомства - при МВД).

22-го июня 1943-го года Шаламов получает новый срок за "антисоветскую агитацию", выразившуюся в том, что в частном разговоре Шаламов назвал писателя-эмигранта Бунина классиком.

Но, как рассказывал Варлам Тихонович, ходить в троцкистах было неизмеримо опасней, чем в антисоветских агитаторах: никакой работы, кроме самой тяжелой, троцкисты получить не могли. Однако по новой статье заключенного могли послать и на более легкие работы, этим воспользовался лагерный врач А.М.Пантюхов, с которым подружился Шаламов. По рекомендации Пантюхова, Шаламов окончил восьмимесячные фельдшерские курсы и работал фельдшером в Центральной

больнице для заключенных на левом берегу Колымы.

Варлам Тихонович рассказывал мне, как написал из лагеря Пастернаку, которого ценил как поэта. Пастернак не просто откликнулся, но присылал заключенному денежные переводы. "По тем временам это был очень смелый поступок", - говорил Шаламов. Освободившись из лагеря в 1951-м году, Шаламов получил разрешение уехать с Колымы только в 1953-м.

В Москве бывшие заключенные проживать не имели права. Шаламов только и успел побывать у жены с дочерью и у Пастернака.

- От жены я ушел в тот же день, как вернулся, - рассказывал мне Варлам Тихонович, - как только услышал от нее: "А все-таки Сталин был великим человеком!"

А Пастернак ему помог: снабдил деньгами, дал рекомендательное письмо к кому-то (не помню) в Калининской области, куда направился на постоянное место жительства Варлам Тихонович. Он работал там мастером на торфоразработках, агентом по снабжению и писал свои знаменитые "Колымские рассказы", которые после того, как мы подружились, давал мне читать.

Мы сблизилась. Гуляли по городу. Варлам Тихонович приходил ко мне домой или в "Литературную газету". Выяснилось, что он не любит Солженицына. Не признает даже его первой, поразившей всех вещи - повести "Один день Ивана Денисовича".

- Что он знает о лагере? - отмахивался Шаламов на мое недоумение. - Где он сидел? В шарашке? Лично он этого не пережил. Потому и вышла вещь подсахаренной.

Я удивлялся: "Что же в ней сладкого?" - "А что горького? - парировал Варлам Тихонович. - В лагере не до интеллигентных разговоров о фильме Эйзенштейна. Лагерь не шарашка. Там одно только занимает, как бы тебе сегодня не сдохнуть".

Шаламов знал, о чем говорил. Сталинские коллеги нынешней властью вернувшись ему на допросах руки, порвали сухожилия, отчего ему, скособоженному, трудно было пожать рукою в рукав. Чекисты били его по ушам, повредив барабанные перепонки, а слышал он плохо с детства, потому и били по самому больному.

Он отплатил им за это сторицей. Его "Колымские рассказы" - натуральные физиологические очерки о ГУЛАГе - воспроизводят такой кошмарный звериный быт, который недурно бы дать ощутить тем, кого зовут назад в советское прошлое.

Кажется, в нью-йоркском "Новом журнале" и еще в "Гранях" были напечатаны первые два или три его рассказа. Варлам Тихонович получал инвалидную пенсию - 80 рублей в месяц. Ее задержали. А когда у Шаламова кончились все деньги, объяснили, что их у него и не будет, пока не подпишет он это инспирированное чекистами письмо. А не

подпишет, пусть подыхает от голода. Махнул рукой Варлам Тихонович: пес с вами, печатайте! Пенсию ему вернули. Приняли в Союз писателей, благодаря которому он провел последние три года жизни в литфондовском пансионате для инвалидов и престарелых в Тушине, где и умер.

Что ж. Не было у Шаламова мировой известности. Не мог он поэтому не только диктовать свою волю палачам, но хотя бы вернуть себе те несчастные 80 рублей, чтобы не помереть с голоду. Гласно отрекся от "Колымских рассказов" в "Литературной газете", как некогда отрекся от Нобелевской премии его кумир Борис Леонидович Пастернак.

О письме в "Литературную газету" мне хотелось поговорить подробней, потому что, когда Варлам Тихонович встретился с Ириной Павловной Сиротинской и переехал к ней, поползли слухи, что Шаламов сам сочинил и отнес в редакцию это письмо. И что вообще Шаламов терпеть не может оппозиционно настроенной к власти интеллигенции, презрительно называет ее "прогрессивным человечеством".

Недавно на одном из вечеров, посвященном Варламу Тихоновичу, я снова услышал эту легенду. Мне кажется, что ее сочинила Сиротинская.

Доказательств у меня нет, но убедите меня! - я никогда не поверю, что это сам Варлам Тихонович своей рукой написал: "Проблематика "Колымских рассказов" давно снята жизнью..."! А ведь ради этой фразы письмо и напечатали! Слишком ответственно относился Шаламов к своему творчеству, чтобы его опорочить! Слишком трезво смотрел он на окружающую его жизнь, чтобы предстать перед людьми неизлечимым оптимистом, ничего в ней не понимающим!

И не презирал он интеллигенцию. Он презирал притворяющихся, актерствующих в жизни: "Хитрожопость - вечная категория. Хитрожопые есть во всех слоях общества. Думают самодовольно: "А я вот уцелел - в огонь не бросался и даже рук не обжег". Омерзительный тип. Да еще думает, что никто не видит его фокусов втихомолку. Хитрожопый - вовсе не равнодушный. Уж как равнодушен Пастернак - хитрожопым он не был, не "ловчил".

Очень точно и очень о многих! Особенно о тех, кто сумел пролезть наверх и предпочитает отмалчиваться по поводу противоправных действий властей, полагая при этом, что сохраняет репутацию либерала! Тем более что зависящие от него подхалимы его не разочаровывают.

Сиротинская много сделала для публикации наследия Шаламова. Но думаю, что для пользы дела она распускала такие слухи. Расчет был (если, конечно, был, но я в его существовании уверен) от непонимания, что такое для советской власти разрешить публикацию "Колымских рассказов". Она и не разрешала. Публикация их появилась только в годы перестройки, до которой Варлам Тихонович, увы, не дожил.

# "ДЫШАТ ВОЗДУХОМ, ДЫШАТ ПЕРВОЙ ТРАВКОЙ"

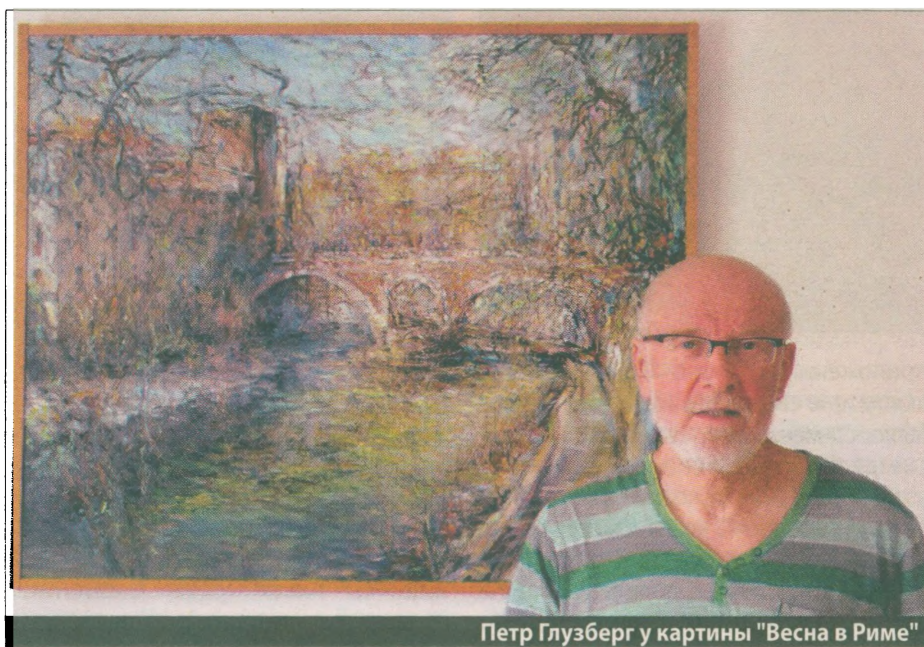
Ретроспективная выставка Петра Глузберга в Кфар-Сабе

**Алек Д. ЭПШТЕЙН**

15 ноября в 19.30 в культурном центре "Мерказ Сапир" в Кфар-Сабе открывается большая ретроспективная выставка Петра Хаимовича Глузберга. Сам художник только что вернулся из Молдавии, где он родился, вырос - и ни разу не был на протяжении двадцати семи предшествующих лет. Самые последние работы, созданные мастером в Молдавии, тоже будут представлены на этой выставке - наряду с замечательными лиричными пейзажами, запечатлевшими виды Иерусалима и Тель-Авива, окрестностей Латруна и Голанских высот, Кинерета и Мертвого моря, Санкт-Петербурга и Рима, Нормандии и Норвегии... Везде, где бы ни бывал Петр Глузберг, он работал - и его личная биография оказалась идентичной биографии творческой... К выставке издан альбом-каталог, озаглавленный *A Glancing View* (по-русски, пожалуй, это правильнее всего перевести как "Беглый взгляд"), включающий репродукции 44 пейзажей, созданных мастером в Израиле и в других странах.

Я хорошо помню, как в начале января 2012 года договорился с Петром Хаимовичем о том, что мы вместе с сыном приедем к нему в мастерскую в районе Ганей-Авив в городе Лод. Из аукционных каталогов я знал, что три его работы были успешно проданы на торгах "Тирош" - старейшей и самой крупной в Израиле галереи, занимающейся продажей произведений искусства, и испытывал понятное стремление увидеть не одну-две его картины, а их представительную подборку. В студиях художников обычно хранится "лучшее и новое": то, что сами живописцы считают своими лучшими произведениями, не желая поэтому расставаться с ними ни за какие деньги, и то, что еще не успело быть выставленным в галереи и на аукционы. Понятно, что очень волнующе быть одним из первых зрителей новых, нигде еще не экспонировавшихся, произведений большого художника...

П.Х.Глузберг был первым живописцем, кому я предложил подготовить к печати альбом его избранных произведений. Книга эта, изданная в 2013 году на русском, а позднее и на английском и на иврите, была изначально задумана как проект достаточно сложный. Речь шла не только о том, чтобы, грубо говоря, что-то написать, разбавив несколько десятков репродукций теми или иными соображениями и размышлениями - нужно было с нуля продумать структуру альбома, решить, какие из произведений художника репродуцировать в нем, а какие - нет, понять, в какой последовательности работы будут наилучшим образом восприниматься зрителем. Я всегда считал, что со-



Петр Глузберг у картины "Весна в Риме"

здание альбома сродни выстраиванию выставочной экспозиции, и, поскольку большинство художников не принадлежит к числу концептуалистов, то концепцию, помогающую зрителям осознать корпус их творчества, должны сформулировать те, кто готовит их выставки и каталоги. При этом важно помнить, что главным во всей этой деятельности является не куратор, а сами художники, к мнению которых нужно прислушиваться максимально чутко. Мне очень повезло, что свой первый опыт такого рода работы я приобрел с Петром Глузбергом - человеком в высшей степени деликатным и тактичным.

Для этого альбома я тщательно отбирал репродукции произведений выдающихся художников прошлого, влияние которых на творческие искания главного героя книги, в данном случае Петра Глузберга, мне представлялось несомненным. П.Х.Глузберг - очевидный продолжатель традиций классического импрессионизма, а потому работы Клода Моне, Камиля Писсарро, Андре Лебура и Константина Коровина казались мне тем камертоном, в диалоге с которым формировались творческая манера, цветовая гамма, а в отдельных случаях - и композиция его работ. Собственно говоря, подобный диалог художественных произведений, невзирая на государственные границы, а также тот факт, что один художник мог еще не родиться, когда другой уже закончил свой земной путь, кажется мне одной из самых прекрасных отличительных особенностей сферы искусства как таковой.

Субъективный взгляд куратора выставки или редактора-составителя альбомов едва ли менее легитимен, чем взгляд самого художника, если главным является стремление представить созданное им искусство наилучшим и наиболее запо-

минающимся для зрителей образом. Художник живет в мире собственного искусства, как правило, будучи весьма глубоко погружен в него, и даже посещая музеи и выставки своих коллег, смотрит на них через свою эстетическую призму, которая неизбежно принципиально отличается от таковой зрителей, для которых каждый художник, на вернисаже или экспозиции которого они оказались, - один из многих. В собственном восприятии творец находится в центре микрокосмоса, а его мастерская становится его храмом, но зрители-то, в подавляющем большинстве своем, в этой мастерской не были ни разу и к этому микрокосмосу причастны лишь на короткое время и только по касательной. Именно поэтому мне кажется очень важной миссия куратора выставок и составителя художественных альбомов по выстраиванию удобного для зрителей моста к восприятию тех или иных художников, чтобы каждого из них можно было "вплести" в знакомый и понятный посетителям и читателям контекст. Я полагаю глубоко ошибочной широко распространенную практику подготовки выставок и издания монографических альбомов, включающих в себя примеры всего, что только было сделано художником (портреты, натюрморты, пейзажи, жанровые композиции, работы в разных техниках и на разные темы), в названии которых, по сути, фигурирует лишь имя автора, сопровождаемое абсолютно неинформативными дополнениями "Избранные произведения", "Новые работы" и т.д.

Люди, интересующиеся искусством, видели работы сотен и тысяч художников, и чтобы "зацепить" их, позволить сформировать в своем сознании его творческий образ и не дать им забыть его имя через считанные часы после того, как они выйдут из выставочного зала и за-

кроют посвященную ему книгу, нужно сформировать его целостный, отличный от других живописцев, образ. Изданный в 2013 году альбом назывался "Пейзажная живопись Петра Глузберга. Развивая традиции французской пленэрной школы в Израиле", и сам этот заголовок уже давал тем, кто брал в руки эту книгу, вектор для восприятия его творчества, наследующего традициям Барбизонской школы, Крозанской школы и французского импрессионизма в целом - но исключительно на израильском материале (ни один пейзаж, созданный в других странах и запечатлевавший их, в ту книгу включен не был).

Прожив в Израиле четверть века, П.Х.Глузберг провел более дюжины выставок, на многих из которых экспонировались также работы его учеников. (Когда мы поднимались к нему наверх, художник полушутя, но больше всерьез, заметил: "А ступеньки здесь все сбиты рамами картин моих и моих учеников"). Студия для детей и взрослых, открытая Петром Глузбергом, была очень популярной: в наиболее удачные годы ученики занимались у него четыре дня в неделю, причем обычно каждый день одна группа сменяла другую, а иногда и третью. Путь к этому был весьма непростым - начинал художник с росписи стен в массовых закусочных. Петр Глузберг не был одинок в этом: Михаил Яхилевич, Борис Карафелов и другие талантливые художники расписывали стены домов в Маале-Адумим и отдельные участки многокилометрового бетонного забора, построенного Израилем с целью затруднения совершения террористических актов организациями палестинских боевиков. Единственное, что, пожалуй, отличало в этой связи именно Петра Глузберга - тот факт, что работал он в одиночку, причем это касалось отнюдь не только проектов, выполняемых сугубо ради заработка. В Иерусалиме и Тель-Авиве есть отдельные галереи, бравшие на консигнацию полотна тех или иных русскоязычных художников; П.Х.Глузберг же работал с галереей "Шимкович", находившейся в городе Кфар-Саба к северу от Тель-Авива, будучи, насколько мне известно, единственным художником-иммигрантом из бывшего СССР, которого она представляла. Ему также удалось найти галереи вначале в Канаде (Blue Dot Gallery в Торонто), а потом в США (Roux & Cyr International Fine Art Gallery в Портленде), которые оценили его пейзажи и фактически на постоянной основе продавали их своим состоятельным клиентам (цены на работы П.Х.Глузберга, как, впрочем, и ряда других израильских художников, в Северной Америке существенно выше, чем в Израиле).



Петр Глузберг, "Цитадель Давида. Иерусалим" (2008)



Петр Глузберг, "Раскидистое дерево на берегу Кинерета"

Впервые услышав в раннем отрочестве "Пиратскую лирическую" песню Булата Окуджавы, я и представить себе не мог, что строка "Когда воротимся мы в Портленд" может иметь какой бы то ни было смысл в моей жизни; сам я в этом городе никогда не был, но художник, которому посвящена первая из написанных мной книг об искусстве, в сентябре 2016 года представил там выставку своих произведений. На ней я, к сожалению, не присутствовал, но выставленные там картины видел незадолго до этого в мастерской художника, где, кстати, хранились не только его работы, но и подборка альбомов важных для него живописцев прошлого - то же самое я видел в мастерских Бориса Карафелова, Аарона Априля, Зезва Куна, в студии Марка Вчерушанского (бережно сохранявшейся его вдовой) и некоторых других, но отнюдь не у всех деятелей искусства, с которыми мне довелось соприкасаться. В целом я считаю безусловно очень важным для каждого серьезного художника, каким бы самобитно одаренным он ни был, внимательное изучение творчества не только признанных крупнейших живописцев прошлых веков, но и современников. Понятно, что позиционирование художника в том или ином контексте - задача не столько самого создателя произведений, сколько искусствоведов и культурологов, но когда у автора есть адекватное понимание поля, в рамках которого, хочет он того или нет, зрителями воспринимается его искусство, это очень, очень хорошо.

Не знаю почему, но, будучи человеком спокойным и очень приятным в общении (не говоря уже о том, что его супруга Ирина - прекрасная радушная хозяйка), Петр Глузберг не был вовлечен ни в какие объединения и "тусовки", как "местные", так и созданные "русскими" художниками в Израиле. Небольшой 24-страничный альбом его избранных работ, выпущенный в 2008 году, фактически не включал какого бы то ни было содержательного текста. Может быть, именно потому, что у Петра Глузберга не было своих знакомых культурологов, которые когда-либо писали о нем, он и доверился мне, хотя я мог тогда предложить ему исключительно свой неподдельный энтузиазм по отношению к его искусству - никакого портфо-

лио публикаций, с которым я приходил к тем или иным художникам два-три года спустя, у меня тогда еще не было. Когда я думаю об этом высоком профессионале своего дела, мне кажется, что именно его невовлеченность в какие бы то ни было "творческие" союзы и процессы, позволила ему сохранить практически в неприкосновенности свою художественную манеру. Стиль этот, "передовыми" искусствоведами нередко считающийся устаревшим, позволяет Петру Глузбергу создавать произведения, проникающие в самую душу зрителя, и я очень сожалею о том, что этих зрителей было и есть меньше, чем его искусство того заслуживает.

П.Х.Глузберг не из тех, кто заканчивает полотно в тот же день, что начал работать над ним. Несмотря на то, что сутью импрессионизма как стиля и метода является прежде всего фиксация уникальных сиюминутных впечатлений, свои холсты он дорабатывает долго и прорабатывает тщательно; зарисовки, сделанные на пленэре, - лишь начальный этап работы, а отнюдь не ее завершение. К некоторым из своих картин П.Х.Глузберг обращался спустя долгие месяцы и даже годы, тогда как отдельные этюды так и не были им закончены. Картины этого художника создают впечатление поэтической легкости, схваченной почти на лету - однако это впечатление достигается благодаря очень кропотливой работе над каждым запечатленным на холсте элементом. Интересно, что, чем больше нравилась самому П.Х.Глузбергу та или иная из его работ, тем больше ему хотелось ее дорабатывать, достигая совершенства в собственных глазах. Он, как мало какой другой

живописец, умеет передать всю гамму оттенков различных стихий, прежде всего воды и воздуха, с удивительным многообразием переливающихся на его полотнах... Уверен, что практически любой ценитель живописи, покупающий альбомы художников-импрессионистов, восхищающийся произведениями Альфреда Сислея и Камиля Писсарро, не останется равнодушным, стоя перед картинами Петра Глузберга. Я думаю, что главное, что удалось сделать художникам-импрессионистам - это запечатлеть на холсте такую неуловимую субстанцию, как воздух, и именно в этом Петр Глузберг - их вдохновенный, преданный и технически высокопрофессиональный наследник.

Удивительная особенность его творческого взгляда состоит в воссоздании облика страны в то время, когда государства как такового еще не возникло: на языке иврит есть всем понятный фразеологизм Тель-Авив ха'ктана, "маленький Тель-Авив", и именно этот город, его здания и кварталы 1920-1930-х годов, а также тель-авивские пригороды того времени занимают ключевое место в корпусе его произведений. Понятно, что Петр Глузберг рисовал много где, на иных его холстах можно увидеть и Днестр, и Мойку, и Берлин, и знакомую по картинам Клода Моне 1880-х годов Этрету во французской Нормандии, самобитные и вдохновенные полотна он написал в Старом городе Иерусалима и его ближайших окрестностях, прежде всего в районе Ямин-Моше... И все же именно старый Тель-Авив, с его уже вековыми раскидистыми деревьями, как и Яффо, рядом с которым Тель-Авив вырос, а также старые

дома когда-то сельскохозяйственных поселений Петах-Тиква и Кфар-Саба попадали на его полотна чаще всего. Вообще, тот факт, что сравнительно недавний иммигрант, родившийся и выросший в Молдавии, учившийся в Харькове и прибывший в Израиль, когда ему было уже под сорок, настолько прочувствовал и передал дух районов, созданных совершенно другими людьми за семьдесят-восемьдесят лет до этого, не может не вызывать восхищения. Парадоксальным образом, однако, сам тель-авивский художественный истеблишмент, фанатично озабоченный тем, чтобы не отставать от последних веяний американской арт-моды, какой бы нелепой и, не побоюсь этого слова, антихудожественной она ни была, не проявил к работам Петра Глузберга ни малейшего интереса. Как художник, он познал и прочувствовал эту страну так, как почти никто из его коллег, в этой стране родившихся и выросших, однако зарабатывать на жизнь ему приходилось и приходится не столько своим творчеством, сколько уроками, причем каждый из его учеников, естественным образом, интересуется развитием собственного потенциала, когда он есть или когда его нет, в несравнимо большей мере, чем работа-ми учителя.

П.Х.Глузберг, впрочем, и сам придает своему творчеству меньшее значение, чем оно, на мой взгляд, того заслуживает: он не только не ведет упорядоченного списка своих произведений, но и совсем не всегда фотографирует их, прежде чем продает или отдает в галерею, как правило, не имея ни малейшего представления о том, кому и как его работы были проданы и где они хранятся. "В мире очень много художников", - несколько раз повторял он мне, добавляя, что в этих условиях обратить на себя внимание творчеством очень и очень сложно. Петру Глузбергу, однако, это удается!

П.Х.Глузберг был и остается художником впечатления, эмоционального и чувственного переживания, которое очевидно невозможно спланировать и запрограммировать. В ходе нашей самой первой встречи он рассказал мне о том, что планирует цикл работ, на которых было бы запечатлено каждое из врат иерусалимского Старого города. С тех пор прошло более шести лет, а этот творческий замысел так и не был реализован. Самая лучшая из работ этого цикла была приобретена одним московским коллекционером, и я не уверен, что мы когда-либо увидим ее в Израиле вновь. Рад, что это полотно репродуцировано в альбоме, который мы издали с Петром Хаимовичем. П.Х.Глузберг - скромный человек, очень далекий от какой-либо показухи или пафоса, но задушевность его искусства является неопровержимым свидетельством его подлинности.

Я уже цитировал одну песню Булата Окуджавы - закончу другой, озаглавленной "Человек": "Дышит воздухом, дышит первой травой, камышом, пока он колышется...". Именно это ощущение захватывает при созерцании полотен Петра Глузберга, именно таковы его чарующие картины.



Окончание. Начало на стр.1

# ТЕАТРАЛЬНОЕ УБИЙСТВО

Евреи переживают за Россию и приветствуют убийство премьер-министра. Их патриотизм не исчезает даже на таком большом отдалении от империи. Евреи устраивают дела чужих народов в надежде на то, что решение проблем в стране должно непременно принести им равноправие. Они не думают о риске для своего народа из-за участия в чужих революциях. Отсутствие боязни понятно, так как автор статьи находится в безопасной Америке и не подвергается риску стать жертвой погрома.

Но как себя чувствовали киевские евреи? В Киеве 1911 г. каждый десятый житель был евреем. По традиционному антисемитскому рецепту "все за одного", евреи города должны были ответить за преступление Богрова. 7 сентября 1911 г. газета "Речь" описывает состояние киевских евреев после того, как стало известно, что Столыпин скончался от ран: "Весть о смерти П.А.Столыпина, быстро облетевшая город, усилила и без того сильную панику. На вокзале творится нечто невероятное; пробиться к вокзалу невозможно. Там скопились тысячи евреев. Отправляются двойные поезда во всех направлениях. Настроение крайне угнетенное". В то время как в России хоронят героя отечества Столыпина, евреи в США славят героический поступок его убийцы. Евреи за границей солидаризируются с террористом Богровым, ликвидировавшим символ контрреволюционного террора. Евреи же России находятся в пугающей неизвестности.

В газете "Новое время" от 13 сентября 1911 г. сообщалось, что в день казни, 12 сентября, Богров, мужественно принявший смертный приговор, встретился с раввином Алешковским (Я.Алешковский, 1872-1946, был киевским раввином с 1904 по 1920 гг.). Осужденный сказал раввину: "Передайте евреям, что я не желал причинить им зла, наоборот, я боролся за благо и счастье еврейского народа". На упреки Алешковского, что Богров своим преступлением мог вызвать еврейский погром, осужденный резко ответил: "Великий народ не должен, как раб, пресмыкаться перед угнетателями его". Убийство премьер-министра в тщательно охраняемом театре в присутствии царя кажется неслыханным подвигом. Кто же этот герой?

Помощник присяжного поверенного, дипломированный юрист, недавний выпускник Киевского университета, 24-летний Дмитрий Богров происходил из богатой семьи ассимилированных киевских евреев. Его дед был писателем, сочинявшим на еврейские темы, который крестился. Как удалось Богрову в одиночку совершить дерзкое убийство второго лица Российской империи при такой тщательной охране места пребывания царя? Для успеха этой грандиозной затеи террористу надо было заслужить приглашение в театр. Ему это удалось благодаря службе в той самой организации, которая охраня-



Дмитрий Богров

ла российскую власть - в царской охранке.

Богров стал анархистом в 1906 г., а после ареста в 1907 г. начал вести двойную игру, выдавая революционеров и анархистов жандармам и получая от них жалование. Дмитрий Богров, казалось, не нуждался в деньгах, но у него были большие потребности и необычные для революционера пристрастия - он был азартным игроком. Секретный сотрудник охраны Богров был известен как пламенный борец с самодержавием. Анархисты подозревали его в сотрудничестве с полицией, но не могли доказать обвинения. О Богрове в справке департамента полиции говорится: "Выше среднего роста, лет на вид 27-30, худощавый, шатен, румяное лицо, верхняя губа выдается, при разговоре скалит зубы, носит пенсне в металлической оправе". А.С.Панкратов писал: "Самого убийцу также знали, как молодого человека, почти не занимавшегося адвокатурой, но увлекающегося азартными играми, тотализатором и спортом. Впрочем, увлечение его не носило широкого, масштаба, не было беспардонным. Он проигрывал небольшие деньги. О революционной деятельности его никто не знал. Тем менее мог кто-нибудь знать об его связи с охранным отделением. Но все эти подробности отошли в сторону перед главным: "Богров - еврей".

Богров не работал на жандармов за деньги, он стремился совершить подвиг, обмануть царскую охранку, заморочив стражам порядка голову, и выиграть приз - голову председателя совета министров самодержца российского. Но лейтмотивом события стало известие о еврейском происхождении Богрова.

Герман Сандомирский, анархист, однокашник и соплеменник Богрова, видит его так: "Был ясный сентябрьский день 1907 г. - один из тех прекрасных, подернутых легкой дымкой тумана, дней, которыми так богата южная осень. В условленном месте, в одной из ниш университетского коридора, в Киеве, меня ждал Дмитрий, - высо-

кий худощавый, стройный молодой человек, с лицом без растительности, если не считать едва пробивавшихся усов, с умными, карими глазами, вдумчиво смотревшими на окружающее сквозь стекленные пенсне в черепаховой оправе. На нем была щегольская тужурка, узкие форменные рейтузы; свежий, высокий воротничок был обтянут форменным черным галстуком".

Борис Струмилло, служащий Санкт-Петербургского отделения Государственного банка, после Октябрьской революции профессор ленинградских вузов и большевистский исследователь, пытается проникнуть в закрытую для всех натуру Богрова: "Он поража́л всех своими знаниями, начитанностью, талантливостью натуры, горячими, глубокими революционными убеждениями, но в то же время все постоянно видели в нем спортсменские наклонности и вкусы. Это говорило о двойственности его натуры. Она у него и была двойственна. Как оказывается, он в одно и то же время жал руку и Кулябкам, и Спиридовичам и в то же время страстно отдавался революционной борьбе". Интересен взгляд на убийцу Столыпина одного из следователей по делу, киевского жандармского генерала Иванова (во время следствия полковника - Богрова судил военный суд): "Это один из самых замечательных людей, которых я встречал. Это удивительный человек".

Г.Е.Рейн, академик, почетный лейб-хирург, действительный тайный советник, в тот момент председатель медицинского совета МВД, находившийся вблизи Столыпина во время покушения в театре и в больнице после него, писал: "Как сравнительно легко было попасть в Купеческий сад, так, наоборот, трудно было получить билет на парадный спектакль 1 сентября. Многим выдающимся общественным деятелям и видным представителям местного общества так и не удалось попасть в театр, несмотря на все хлопоты и протек-

ции". Поразительный успех замысла Богрова породил волну слухов и подозрений, что не мог убийца совершить свое преступление без помощи жандармов, выполнявших волю царя, не любившего своего премьера. Заговор царя против Столыпина с помощью охранки и ее агента представляется нелепым и не был ничем подтвержден.

Богров долго вынашивал убийство Столыпина. Один из членов боевой организации эсеровской партии Егор Лазарев рассказал, что молодой помощник присяжного поверенного уговаривал доверить ему убийство премьер-министра от имени эсеровской партии и при ее поддержке. Лазарев отклонил предложение Богрова. В ходе встреч между ними эсер отметил еврейский аспект обсуждаемого проекта: "Почему вы облюбовали Столыпина, а не другое лицо - если признаете центральный террор?". В пересказе Лазарева Богров ответил: "Потому что, по моему, важнее Столыпина только царь. А до царя мне добраться одному почти невозможно". Автор статьи "Дмитрий Богров и убийство Столыпина" Егор Лазарев спрашивает своего собеседника: "Вы еврей?" - "Еврей", - отвечает анархист Богров. "Тогда вы человек не подходящий", - замечает Лазарев. Потрясенный Богров спрашивает: "Как так? Почему?" и получает ответ: "Потому что партия не позволяет нашего батюшку царя евреям убивать". Богров хочет добиться разъяснения: "Вы думаете, из-за боязни еврейских погромов?" Богров подводит идеологическую базу в еврейской упаковке под свое желание убить премьер-министра: "Я еврей, и позвольте вам напомнить, что мы и до сих пор живем под господством черносотенных вождей. Евреи никогда не забудут Крушеванов, Дубровиных, Пуришкевичей (называет известных в то время российских антисемитов. - А.Г.) и других злодеев. >...> Где сотни и тысячи других растерзанных евреев - мужчин, женщин и детей с распоротыми животами, с отрезанными носами и ушами? <...> Вы знаете, что властным руководителем идущей теперь дикой реакции является Столыпин?"

Ясно, что Богров знал о политике премьера по еврейскому вопросу довольно мало. Еще в 1906 г. Столыпин подготовил законопроект о равноправии евреев. Как и сменивший его на посту председателя Совета министров граф В.Н.Коковцов, не допустивший погромов в Киеве после убийства своего предшественника, Столыпин не любил евреев, но понимал, что политика русского самодержавия в отношении этого народа выглядит по меньшей мере неприлично на международной арене и порождает бунтовщико-революционеров в среде евреев страны. Царь не утвердил законопроект своего премьера. Ни одна оппозиционная партия во Второй, Третьей и Четвертой Думах не желала поддержать законопроект Столыпина о равноправии евреев из опасения считаться сторонниками реакционера.

Убийство перевело Столыпина в ранг национального героя. Драматизм акта покушения усилился после оглашения завещания Столыпина, предсказавшего свое

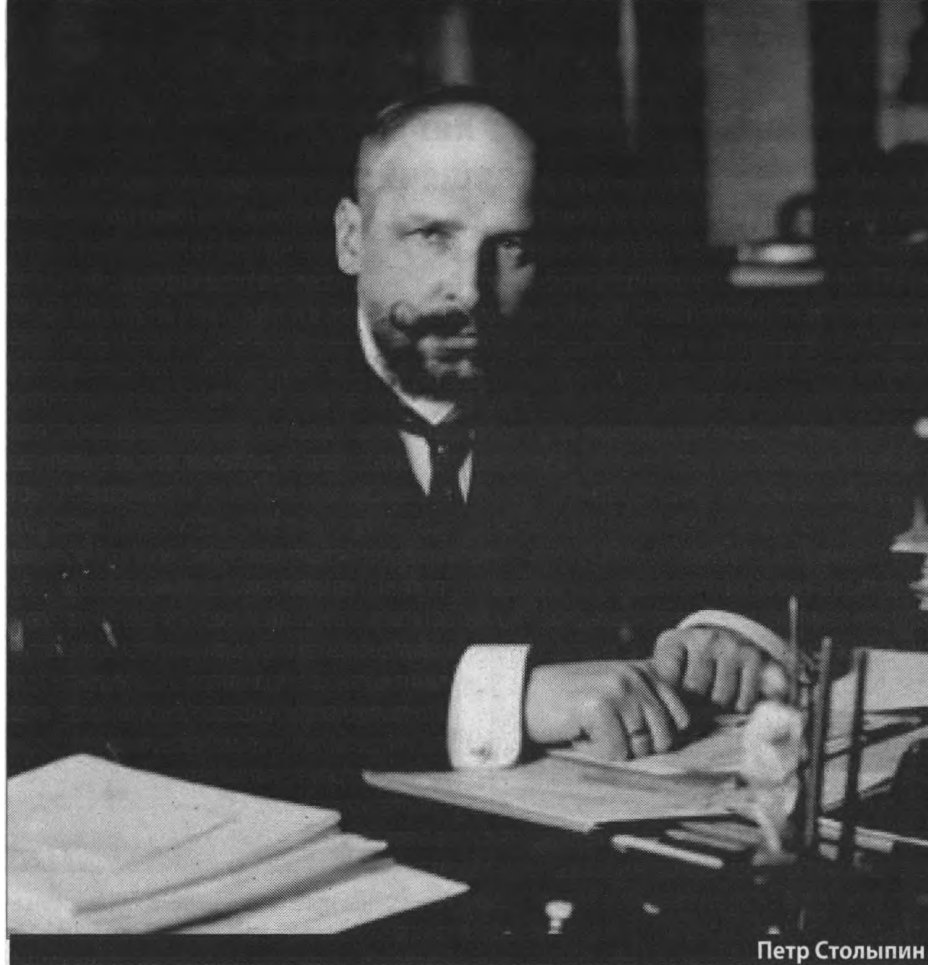
убийство от руки революционера: "Я хочу быть похороненным там, где найду свою смерть". Его похоронили в Киево-Печерской лавре рядом с героями-патриотами Петровской эпохи Искры и Кочубея. Через год после покушения в Киеве, на Думской площади (сегодняшний Майдан), воздвигли памятнику убитому премьер-министру.

Драма в Киевском городском театре стала народной драмой. А.И.Солженицын в "Красном колесе" и руководство современной России героизируют Столыпина, превозносят его реформы и считают его насильственный уход из жизни колоссальной потерей для страны. Киевский губернатор того времени Алексей Гирс считал: "Пуля, пробившая печень Столыпина, ударила в сердце России". Академик Рейн задолго до Солженицына описал историческое значение убийства председателя совета министров: "Многие думают, и я в том числе, что, если бы не было преступления 1 сентября, не было бы, вероятно, и мировой войны и не было бы и революции с ее ужасными последствиями. Столыпину приписывают многократно повторенное им утверждение: "Только война может погубить Россию". Если с этим согласиться, то убийство Столыпина имело не только всероссийское, но и мировое значение".

Я не исследую роль П.А.Столыпина в судьбе его народа. Меня интересует другой народ, "за благо и счастье" которого, по словам раввина Алешковского, якобы боролся Богров. Считается, что убийство премьер-министра не раскрыто, ибо не понятны мотивы его убийцы и механизм совершения успешного покушения. Об этих мотивах я могу лишь строить догадки.

Вместе с ЦК партии эсеров я принимаю следующие утверждения. Партия эсеров не знает, "кто такой Богров (по одним сведениям анархист, по другим - агент охранки). Существуют две несомненные вещи: Богров неизвестно какой ценой купил исключительное доверие охранки, позволившее ему попасть на торжественный спектакль и совершить успешное покушение; второе: с момента выстрела в театре вплоть до петли на шее, Богров держал себя с достоинством, благородно, геройски".

К "достоинству", о котором говорит ЦК эсеров, надо добавить изощренную ложь, которой, по результатам следствия, Богров опутал высших чинов полиции из Санкт-Петербурга и Киева, призванных охранять царя и премьера. Он выдумал группу террористов, приехавших, по его заявлениям, в Киев с целью убийства Столыпина и проживающих в его доме на Бибиковский бульваре, 4, в двенадцати-комнатной квартире номер 7. Он убедил охранку в существовании террористов, в том, что держит под контролем их возможные действия и что от всей души сотрудничает с полицией в деле охраны премьер-министра, убийство которого задумал и совершил. Богров обыграл высокопоставленных жандармов: товарища (заместителя) министра внутренних дел П.Г.Курлова, генерал-майора отдельного корпуса жандармов и начальника двор-



Петр Столыпин

цовой охраны А.И.Спиридовича, директора Департамента полиции, камер-юнкера М.Н.Веригина и начальника Киевского охранного отделения подполковника Н.Н.Кулябко. Богров получил разрешение и поддержку этих лиц, охранявших царя и премьера, отслеживать несуществующих террористов и проникнуть в театр.

Знакомая Богрова, впоследствии детская писательница Бэла Моисеевна Прилежаева-Барская (урожденная Фельдман), его ровесница, встретила и беседовала с ним 30 августа, за два дня до покушения. Она хорошо знала Богрова и, будучи далекой от революции, заметила характерную черту убийцы Столыпина, которая, возможно, не была видна многочисленным интерпретаторам мотивов его действий: "Я вспоминаю его странную двойную жизнь веселящегося молодого человека из буржуазной среды, полную в то же время риска, опасности и азарта. Он всегда смеялся над "хорошим и дурным". Презирая общепринятую мораль, он создавал свою, причудливую и не всегда понятную. Он шел к давно намеченной цели жутким и извилистым путем, считая, быть может, что достижение покрывает все. <...> Он говорил, что не может представить себя членом какой бы то ни было организации, что не перенес бы той узды, которую она накладывает на личность, что революцию можно делать самому, без чужой указки и чужой помощи. "Партия - это я", - говорил он когда-то, и эта "партия" разрешила ему ту тактику, которую не разрешила бы никакая другая. <...> Рожденный со страстной натурой игрока, он не мог жить буднично и покойно, он во всем и всегда искал сильных ощущений, тревожных и ярких впечатлений. Задумывая совершить налет, он сообщает об этом заранее намеченному лицу. Собираясь убить Столыпина, он преду-

жеждает Кулябку о готовящемся покушении. Он превратил свою жизнь в азартную игру, и в этой игре последней ставкой была его собственная жизнь".

Поразительная дерзость и точность исполнения плана покушения на жизнь Столыпина видны из свидетельства А.С.Панкратова, очевидца убийства: "Что касается киевского события, то там дело еще более усложнялось, так как на спектакле присутствовал государь император с августейшими дочерьми. Значит, охрана была усилена. И все-таки кровавое дело совершилось. Охрана не только не спасла, но была введена в заблуждение ловким убийцей и охраняла высокопоставленных лиц от всех, кроме самого убийцы. <...> Там были отборные лица. Поэтому ни у кого и мысли не могло возникнуть о возможности каких-нибудь революционных эксцессов в такой парадной обстановке. Террористу немыслимо было пройти туда". Проект Богрова отличался хитростью, ловкостью, умением заговорщика-одиночки высокого уровня, державшего свой замысел в секрете ото всех. Это был не киллер-профессионал, а игрок выдающегося масштаба.

Богров был хладнокровным авантюристом, для которого революция и охранка были картами в игре. Его интересовало убийство Столыпина как крупный выигрыш. Он мечтал войти в историю. Богров испытывал большое удовольствие от близости к дьяволу, к охранке. Его коллега, анархист И.С.Гроссман-Рощин писал: "Богров жил протестом против нудной обывательщины и никогда не был просто веселым, радостным, упоенным борьбой, риском. <...> У него была характерная черта: умел носить маску, лгать, и в этом он был талантлив. Умел производить впечатление". Он искал экстремальные занятия и возможности выброса адреналина.

Богров рисковал жизнью многих евреев. Он поставил себя над всеми, разбил жизнь родителям, пожертвовал евреями, Столыпиным и четырьмя жандармами, которых уволили за провал охраны премьер-министра. Он хотел испытать очень сильные чувства, возвыситься над людьми.

В феврале 1911 г. анархист П.Лятковский, товарищ Богрова по университету, был выпущен из тюрьмы. Он зашел на квартиру к Богрову. Тот ему сказал: "Только убив Николая II, я буду считать себя реабилитированным (за подозрения в службе охранке. - А.Г.). Нет. Николай пустое. Николай - игрушка в руках Столыпина. Ведь я еврей. Убийство Николая спровоцирует небывалый еврейский погром. Лучше убить Столыпина: благодаря его политике задушена революция и наступает реакция". Тогда Лятковский ушел от Богрова озадаченным. После убийства он так охарактеризовал Богрова: "Он не хотел быть чернорабочим в революции, не хотел быть "мелкой сошкой", ему нужно было "главное". Поэтому он вступил в охранку, чтобы сделать это "главное", потому-то он и стрелял, чтобы его ценили, его знали. Ему нужны были слава, известность. Пусть слава провокатора, Герострата, лишь бы слава, а не реабилитация".

Для полета на вершину славы Богрову нужна была игра в универсальные ценности, которые поставляла революционная деятельность, борьба с ней и сцена, с которой можно было обозревать сильных мира сего, с этой высоты казавшихся ему мелкими фигурками, марионетками. Он посмеивался над выпендрившимся высказыванием Столыпина: "Вам нужны великие потрясения - нам нужна великая Россия". Он сам был "великим потрясением", а "великая Россия" представлялась ему кучкой бездарных жандармов и чиновников, которых он со страстным удовольствием великого игрока обыграл. Он презирал и революционеров за неспособность совершать по-настоящему великие дела. Богров был близоруким человеком, он не видел бессмысленности разрушений, которые производил. Смысл его действий его и не интересовал. Театральное представление в Киеве 1 сентября 1911 г. он воспринимал как бал прислужников дьявола, на котором ему принадлежит решающая роль вершителя судьбы Империи. Он желал снять в финале маску и потрясти мир. Он признавал только Игру, самую рискованную, самую опасную. Своим выстрелом Богров не убил самодержавие, не приблизил революцию. Он поставил под удар еврейский народ, над которым тоже желал возвыситься. Как еврей Богров не создавал кумиров, но он создал антикумира, идола российских националистов. Он ввел Столыпина в историю, из которой тот уже уходил. Тот факт, что Богров был евреем, украсил портрет "мученика-реформатора", героя России Петра Аркадьевича Столыпина и добавил горючий материал в досье русских евреев.

Желающие приобрести книгу А.Гордона "Коренные чужаки" могут обратиться по электронной почте [algor.goral@gmail.com](mailto:algor.goral@gmail.com)

**Марк ЭРЕНБЕРГ**

В конце октября в двух ведущих университетах Санкт-Петербурга - СПбГУ и Герценовском - прошли презентации книги "Подвиг милосердия", написанной израильским историком и политологом Яиром Ауруном и его российским коллегой Александром Охтовым при участии Алека Д. Эпштейна, ставшего редактором опубликованной монографии. В этой книге, написанной на основе большого корпуса документальных свидетельств, собранных преимущественно Александром Охтовым на протяжении многих лет его подвижнической гуманитарной деятельности, излагается драматичная история спасения тридцати двух ленинградских детей в ауле Бесленей в 1942 г. Дети, которым грозила почти неизбежная гибель, были спасены благодаря милосердию и благородству нескольких десятков жителей черкесского села, ставших им приемными родителями.

Среди детей, усыновленных в ауле Бесленей, было несколько евреев (их фамилии - Кролик, Вейнер, Шахтман и некоторые другие - говорят сами за себя), но за полгода оккупации ни один из них не был выдан местными жителями нацистам! Николай Вейнер и Вадим Шахтман нашли родных и давно покинули аул Бесленей, а вот урожденный Марк Кролик, проживший жизнь под именем Муссы Агаржаноква, остался там навсегда и долгие годы был учителем математики и физики в Бесленевской школе. Александр Охтов учился у него, и вот что он вспоминает:

"Как педагог, он был удивительный. Я никогда не слышал, чтобы он когда-либо повышал голос на ученика, но при этом он всегда заинтересовывал ученика слушать его; он овладевал вниманием учеников - и изложение им темы урока всегда было доступно. У него был приятный акцент, когда он говорил на черкесском языке, хотя всю свою взрослую жизнь он считал себя адыгом. ...Как бы близко ни знали мы Муссу Якубовича, в этом человеке всегда оставалась какая-то таинственность. Мне казалось, что в душе этого человека сокрыта какая-то тайна, какая-то ноша, которую он не показывал людям... Я чувствовал, что Мусса Якубович не просто образованный человек, что его интеллигентность заложена в нем очень глубоко".

Сохранившиеся у наследников воспоминания супруги родного брата отца Муссы (Марка), Зелика Менделевича Кролика (1910-1965), Елены Константиновны Краевской (1911-1993) позволяют убедительно реконструировать семейную родословную.

Дедушка и бабушка Марка Кролика по отцовской линии проживали в белорусском городе Шклов. У них было пятеро детей: сыновья Лев, Зелик, Исаак, дочь Бася и еще одна дочь, уехавшая в Америку. Все три брата - Зелик Менделевич, Лев Менделевич и Исаак Менделевич Кролик - со своими семьями до войны жили в Ленинграде. Марик Кролик, сын Исаака Менделевича и его жены Лили, родился в 1936 или 1937 г.

По данным, установленным в Санкт-Петербургском архиве, жена и дочь Зелика Менделевича эвакуировались из Ораниенбаума 18 июля 1941 г. Сам же Зелик



Менделевич участвовал и в Финской войне, а с 23 июня 1941 г. воевал в Великой Отечественной, был удостоен медали "За боевые услуги". Насколько известно, Лев Менделевич умер в Ленинграде 19 февраля 1942 г., отец Марика Исаак и его мама Лили умерли примерно в это же время, после чего его 15-летняя двоюродная сестра Люся (дочь Льва Менделевича) осталась с Мариком на руках одна. Люся уехала в эвакуацию в Куйбышев (ныне - Самара) в июне 1942 г. без младшего двоюродного брата, который был отдан в детский дом; Люся (по паспорту ее звали Делора) умерла в 1994 г. "Она сдала его в детский приемник полуживого, разучившегося и говорить, и ходить", - сообщала супруга родного брата отца Марка. Нет ни малейших сомнений в еврейском происхождении этой семьи; очевидная в данном случае национальность "еврей" указана и в "Боевой характеристике" Зелика Кролика от 1 июня 1944 г., сохранившейся до нашего времени.

В 2009 г. в прессе появилось сообщение о том, что "документальных подтверждений эвакуации из Ленинграда "бесленевских" детей, а соответственно, и сведений об их национальности, в архиве не нашлось". Это сообщение, однако, было скорее дезинформирующим, и вот почему.

Десять лет назад московским научно-просветительским центром "Холокост", действительно, был сделан архивный запрос относительно того, были ли среди спасенных в Бесленее детей евреи, и есть ли, вообще, в архиве данные о спасенных в этом ауле детях из Ленинграда. 10 сентября 2008 г. был получен ответ, гласивший: "Отдельного списка воспитанников по Ленинградскому детдому №12 Красногвардейского района на госхранении не имеется; в списках, составленных в основном в 1943-1945 гг., представлены отдельные бывшие воспитанники этого детдома, но уже в составе других детских домов: Константиновского №27 (бывшего Ленинградского детдома №68), Отраденского детдома №31, Удобненского детдома №58 и др. По этим спискам были

проверены представленные вами персоналии; к сожалению, таковых не выявлено".

Подобный отрицательный ответ кажется странным лишь на первый взгляд, ибо, по не до конца понятным причинам, запрос был сделан - и ответ получен - из Управления по делам архивов Краснодарского края. Однако Бесленей находился в Черкесской автономной области, которая, в свою очередь, с марта 1937 г. находилась в составе Ставропольского (в 1937-1943 гг. носившего название Орджоникидзевского), а не Краснодарского края! Соответственно, в самом деле нет причин, чтобы в краснодарских архивах находились какие-либо релевантные документы, касающиеся спасенных в Бесленее ленинградских детей.

Неверным был и запрос в отношении исключительно воспитанников детдома №12: из бесленевских детей, эвакуационные учетные карточки которых нам удалось найти в архиве в Санкт-Петербурге, в этом детдоме находилась только Катя Иванова, тогда как Семен Подкопаев - в детдоме №43, а Володя Жданов - в детдоме №68! В архиве в Санкт-Петербурге есть данные всего о трех воспитанниках детского дома №12, эвакуированных 7 апреля (а именно тогда вышел эшелон с детьми, часть из которых добралась до Бесленей); при этом значатся тринадцать эвакуированных из детдома №43 и 48 эвакуированных в тот же день - из детдома №68! Таким образом, запрос был, во-первых, фактически неверно сформулирован, а во-вторых, ошибочно направлен в не тот субъект Российской Федерации, где соответствующую информацию в принципе имело смысл искать.

Более того: из полученного ответа следует, что даже когда информация о национальности того или иного человека в Краснодарском архиве имеется, то она не предоставляется: "Действительно, в имеющихся на госхранении списках детей и сотрудников детских домов, эвакуированных в детские дома Краснодарского края из Ленинграда, центральной России, Украины, Крымской АССР, Белоруссии, Молдавии в

1941-1942 гг. имеются евреи по национальности. Предоставить Вам данные о них не представляется возможным, так как эта информация носит конфиденциальный характер".

Этот подход можно считать, а можно не считать оправданным, но пока он именно таков, очевидно, что нет смысла обращаться в архивы с просьбой о предоставлении информации относительно того, сколько евреев были эвакуированы в то или иное место, где они смогли спастись и выжить. Важно при этом осознавать, что отсутствие архивной справки ни в коем случае не должно ставить под сомнение тот факт, что люди, лично свидетельствующие о том, как они спаслись, заслуживают доверия.

Дети, не знавшие черкесского языка, естественно, страшно боялись. Сам Мусса Якубович (урожденный Марк Зеликович) - он, к огромному сожалению, ушел из жизни в 2014 г. - вспоминал, как приемная черкесская мать, Кукра Агаржаноква, отвечала обыскивавшему ее дом немецкому офицеру: "Мой бедный сыночек, он немой". И спустя семьдесят лет этот давно уже не ребенок добавил: "У меня и сегодня перед глазами стоит лицо этого нациста". Но он же указывал: "Еврейский вопрос. Я думаю, если бы они (бесленевцы) взяли на воспитание русских, чисто русских, то было бы то же, что и с еврейскими детьми, потому что славянское население немцы считали неполноценным". Черкесские жители Бесленей спасли детей разных национальностей, и именно в этом интернациональном гуманизме - непреходящее значение их подвига. В Мемориальный институт Холокоста и героизма "Яд ва-Шем" подан запрос о присвоении жителям аула Бесленей, спасших ленинградских детей от нацистов, заслуженного ими звания Праведников народов мира.

По прошествии семидесяти пяти лет после того, как они добрались до Северного Кавказа и нашли спасение в ауле Бесленей, ленинградские дети вернулись на свою родину - теперь уже героями книги.

# СТАРЫЙ ПАРИКМАХЕР

**Александр ПАЩЕНКО**

Мы жили в одной комнате коммуналки на углу Комсомольской и Чкалова. На втором этаже, прямо над садиком "Юный космонавт".

В сталинках была хорошая звукоизоляция, но днем было тихонько слышно блямканье расстроенного садиковского пианино и хоровое юнкосмонавтское колоратурное меццо-сопрано.

Когда мне стукнуло три, я пошел в этот же садик. Для этого не надо было даже выходить из парадной. Мы с бабушкой спускались на один этаж, она стучала в дверь кухни - и я нырял в густое благоухание творожной запеканки, пригорелой каши-малашки и других шедевров детсадовской кулинарии.

Вращение в этих высоких сферах потребовало, чтобы во мне все было прекрасно, как завещал Чехов, и меня впервые в жизни повели в парикмахерскую.

Вот тут-то, в маленькой парикмахерской на Чкалова и Советской армии, я и познакомился со Степаном Израйлевичем.

Точнее, это он познакомился со мной.

В зале было три парикмахера. Все были заняты, и еще пара человек ждали своей очереди.

Я никогда еще не стригся, был уверен, что как минимум с меня снимут скальп, поэтому ревел, а бабушка пыталась меня взять на слабо, сочиняя совершенно неправдоподобные истории о моем бесстрашии в былые времена:

- А вот когда ты был маленьким...

Степан Израйлевич - высокий, тощий старик - отпустил клиента, подошел ко мне, взял обеими руками за голову и начал задумчиво вертеть ее в разные стороны, что-то бормоча про себя. Потом он удовлетворенно хмыкнул и сказал:

- Я этому молодому человеку буду делать голову!

От удивления я заткнулся и дал усадить себя в кресло.

Кто-то из ожидающих начал возмущаться, что пришел раньше.

Степан Израйлевич небрежно отмахнулся:

- Ой, я вас умоляю! Или вы пришли лично ко мне? Или я вас звал? Вы меня видели, чтобы я бегал по всей Молдаванке, или с откуда вы там себя взяли, и зазывал вас к себе в кресло?

Опешившего скандалиста обслужил какой-то другой парикмахер. Степан Израйлевич не принимал очередь. Он выбирал клиентов сам. Он не стриг. Он - делал голову.

- Идите сюда, я буду делать вам голову. Идите сюда, я вам говорю. Или вы хотите ходить с несделанной головой?!

- А вам я голову делать не буду. Я не вижу, чтобы у вас была голова. Раечка! Раечка! Этот к тебе: ему просто постричься.

Степан Израйлевич подолгу клал ножницами в воздухе, елозил расче-

ской, срезал по пять микрон - и говорил, говорил не переставая.

Все детство я проходил к нему.

Стриг он меня точно так же, как все другие парикмахеры стригли почти всех одесских мальчишек: "под канадку".

Но он был не "другой парикмахер", а Степан Израйлевич. Он колдовал. Он священнодействовал. Он делал мне голову.

- Или вы хотите так и ходить с несделанной головой? - спрашивал он с ужасом, случайно встретив меня на улице. И по его лицу было видно, что он и представить не может такой запредельный кошмар.

Ежеминутно со смешным присвистом продувал металлическую расческу - будто играл на губной гармошке. Звонко клал ножницами, потом брякал ими об стол и хватал бритву - подбрить виски и шею.

У Степана Израйлевича была дочка Сонечка, примерно моя ровесница, которую он любил без памяти, всеми потрохами. И сколько раз меня ни стриг - рассказывал о ней без умолка, взвизгивая слюной от волнения, от желания выговориться до дна, без остатка.

И сколько у нее конопушек: ее даже показывали врачу. И как она удивительно смеется, закидывая голову. И как она немного шепелявит, потому что сломала зуб, когда каталась во дворе на велике. И как здорово она поет. И какие замечательные у нее глаза. И какой замечательный у нее нос. И какие замечательные у нее волосы (а я так немножко разбираюсь в волосах, молодой человек!).

А еще - какой у Сонечки характер.

Степан Израйлевич восхищался ей не зря. Она и правда была очень необычной девочкой, судя по его рассказам. Доброй, веселой, умной, честной, отважной. А главное - она имела талант постоянно влипать в самые невероятные истории. В истории, которые моментально превращались в анекдоты и пересказывались потом годами всей Одессой.

Это она на хвастливый вопрос соседки, как сонечкиной маме нравятся длинные холеные соседкины ногти, закричала, опередив маму: "Еще как нравятся! Наверно, по деревьям лазить хорошо!".

Это она в трамвае на вопрос какой-то тетки с детским горшком в руках: "Девочка, ты тут не сходишь?" ответила: "Нет, я до дома потерплю", а на просьбу: "Передай на билет кондуктору" - удивилась: "Так он же бесплатно ездит!".

Это она на вопрос учительницы: "Как звали няню Пушкина?" ответила: "Голубка Дряхлая Моя".

Сонины остроты и приключения рассказывались так стремительно, что я обычно узнавал про них в виде анекдота от друзей, а потом уже - иногда через годы - от парикмахера.

Я так и не познакомился с Соней, но

обязательно узнал бы ее, встретить на улице - до того смачными и точными были рассказы мастера.

Потом детство кончилось, я вырос, сходил в армию, мы переехали, я учился, работал, завертелся, растерял многих старых знакомых - и Степана Израйлевича тоже.

А лет через десять вдруг встретил снова. Он был уже совсем дряхлым стариком, за восемьдесят. По-прежнему работал. Только в другой парикмахерской - на Тираспольской площади, прямо над "Золотым тельником".

Как ни странно, он отлично помнил меня.

Я снова стал заходить к старику. Он так же торжественно и колдунски "делал мне голову". Потом мы спускались в "Золотой тельник" и он разрешал угостить себя коньячком.

И пока он меня стриг, и пока мы с ним выпивали - болтал без умолку, брызгая слюнями. О Злате - родившейся у Сонечки дочке.

Степан Израйлевич ее просто боготворил. Он называл ее золотком и золотинкой. Он блаженно закатывал глаза. Хлопал себя по ляжкам. А иногда даже начинал раскачиваться, как на еврейской молитве.

Потом мы расходились. На прощанье Степан Израйлевич обязательно предупреждал, чтобы я не забыл приехать снова:

- Подумайте себе, или вы хотите ходить с несделанной головой?!

Больше всего Злата, по словам Степана Израйлевича, любила ириски. Но был самый разгар проклятых девяностых, в магазинах было шаром покати, почему-то начисто пропали и они.

Я случайно увидел ириски в Ужгороде - и торжественно вручил их Степану Израйлевичу, сидя с уже сделанной головой в "Золотом тельнике".

- Для вашей Златы. Ее любимые.

Отреагировал он дико. Вцепился в кулек с конфетами, прижал его к себе и вдруг заплакал. По-настоящему заплакал. Прозрачными стариковскими слезами.

- Злата... золотинка...

И убежал - даже не попрощавшись.

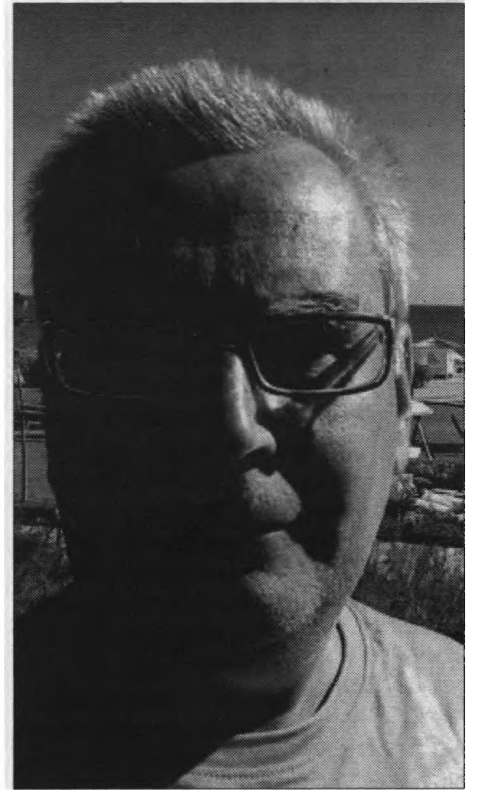
А вечером позвонил мне из автомата (у него давно был мой телефон), и долго извинялся, благодарил и восхищенно рассказывал, как обрадовалась Злата этому немудрящему гостинцу.

Когда я в следующий раз пришел делать голову, девочки-парикмахерши сказали, что Степан Израйлевич пару дней назад умер.

Долго вызванивали заведующего. Наконец, он продиктовал домашний адрес старого мастера, и я поехал туда.

Жил он на Мельницах, где-то около Парашютной. Нашел я в полуразвалившемся дворе только в хлам нажравшегося дворника.

Выяснилось, что на поминки я опоз-



здан: они были вчера. Родственники Степана Израйлевича не объявлялись (я подумал, что с Соней и Златой тоже могло случиться что-то плохое, надо скорей их найти).

Соседи затеяли поминки в почему-то не опечатанной комнате парикмахера. Помянули. Передрались. Танцевали под "Маяк". Снова передрались. И растащили весь небогатый скарб старика.

Дворник успел от греха припрятать у себя хотя бы портфель, набитый документами и письмами.

Я дал ему на бутылку, портфель отобрал и привез домой: наверняка, в нем окажется адрес Сони. Там оказались адреса всех.

Отец Степана Израйлевича прошел всю войну, но был убит нацистом в самом начале 1946 года на Западной Украине при зачистке бандеровской погани.

Мать была расстреляна румынами в оккупированной Одессе еще за пять лет до гибели отца: в октябре 1941 года. Вместе с ней были убиты двое из троих ее детей: София (Сонечка) и Голда (Злата).

Никаких других родственников у Степана Израйлевича нет и не было.

Я долго смотрел на выцветшие справки и выписки. Потом налил до краев стакан. Выпил. Посидел с закрытыми глазами, чувствуя, как паленая водка продирает себе путь.

И только сейчас осознал: умер единственный человек, кто умел делать голову.

В последний раз он со смешным присвистом продул расческу. Брякнул на стол ножницы. И ушел домой, прихватив с собой большой шмат Одессы. Ушел к своим сестрам: озорной конопатой Сонечке и трогательной стеснительной Злате-Золотинке.

А мы?

Мы - все, кто пока остался тут, - так и будем теперь до конца жизни ходить с несделанной головой.

Или мы этого хотим?

Марк КОТЛЯРСКИЙ

## ...Такое вот письмо

Такие строки, даже графика их напоминают кардиограмму - такое ощущение, что действительно в этих строках бьется твое сердце, чувствуется твое дыхание, слышится музыка твоего голоса.

Ты впервые написала мне столь подробно, столь обстоятельно, как будто вдруг после долгого молчания решилась заговорить; нет, конечно, ты и раньше говорила, писала, смеялась, шутила, писала мне в скайпе, но вдруг...

## Такие строки....

И написаны они, сохраняя твое тепло, будто их касалась твоя рука, будто твоя рука коснулась моего лица - знаешь, так, слегка коснулась и провела по моему лицу. И... ты улыбнулась.

Скажу тебе честно, без иронии: твое письмо написано в жанре так называемой "рубленой строки" - так писали мой любимый "король фельетонов" Влас Дорошевич и гениальный критик, историк литературы, бешеный и неподражаемый Виктор Шкловский, своей лысой головой, похожей на вареное яйцо, напоминавший инопланетянина.

Рубленая строка, короткое дыхание, задышающийся ритм, скороговорка, в которой - успей - улавливается Бог деталей, ибо Бог, прежде всего, растворен в деталях, как истина растворена в оттенке.

"Если присваиваешь, то обязательно теряешь.

Я написала, что принимаю тебя таким, как ты есть.

Это так.

Мне уже достаточно того, что я знаю".

Я не знаю, откуда в тебе рождаются вдруг фразы ярчайшей чеканки, мудрые, как старая книга, острые, как шпага, пронзающий собеседника моментально. Я представляю, что ты улыбаешься, читая эти строки, и говоришь: "Опять он меня захваливает... Лукавый..."

Нет, не захваливаю. Просто удивляюсь. И знаешь - почему? Потому что в начале XX века жил такой философ и писатель - француз Ален, о котором написал другой не менее знаменитый писатель Андрэ Моруа, и в его записках я вычитал как-то афоризм, который Моруа приписывает этому самому Алену (а теперь внимание):

"Мало принимать человека таким как он есть - хотеть его таким как он есть, в этом и заключается истинная любовь..."

Но - серьезно - твои строчки мне нравятся больше, чем Алена.

Вот так, малышка.

Да и еще из "твоего":

"Если присваиваешь, то обязательно теряешь".

Подписываюсь под каждым словом.

Присваиваешь - значит, делаешь своей собственностью; нельзя человека делать своей собственностью, даже прирученного.

## ПРИЗРАК НА ПОРОГЕ

## Фрагмент романа

Мы в ответе за тех, кого приручили.  
А если не приручили?  
Если приручили?  
Заставили играть чужую роль?  
Навязали свою модель поведения?  
Раз в году и винтовка стреляет.  
Так и "присвоенный" может в какой-то момент взбунтоваться.  
И тот, кто присвоил, может в какой-то момент просто-напросто охладеть к тому, кого он присвоил.  
Так бывает.  
Часто.

## Там, где сплетаются ветви

*"И встает бывшее светлым раем,  
Словно детство в солнечной пыли..."*  
Саша Черный

- Пойдем в парк? - предложил он.  
- Правда, что ли? - сьерничала она; и, не зная он ранее этой ее привычки ерничать, непременно съязвил бы в ответ; но: он-то знал, что ерничаньем она порой прикрывается, как щитом, панцирем, накидкой, епанчой - все равно чем, лишь бы обуздать жгучее желание, вооружиться неверием, не верием, а веером, раскрывшимся, словно лопасть латаний, и закрывшим ее пунцовое от краски лицо.  
- Правда что ли? - повторила она, но глаза выдавали - блестели, лучились, сияли.  
- Правда... - сказал он. - Позавтракаем и пойдем.

- Странно, - говорил он ей чуть позже, когда они уже шли по дорожкам старого парка, - все прекрасно в отношениях между мужчиной и женщиной: секс, близость, ласки, перереживания, кипение страстей, томление тела и духа. Но если нет этой умиротворенности, нет парка, то кажешься сам себе чем-то обделенным, ущербным, неполноценным. Почему?

- Ты знаешь, ты был прав насчет "странного дня"... - отвечала она невпопад. - У меня получился вчера какой-то непонятный день, я была на взводе, пыталась найти причину - и не могла понять, в чем дело... Так случается иногда... Слава Богу, что ты рядом, и как хорошо, что мы идем с тобой по этому парку...

- А ты заметила, - сказал он, - что нам никто не мешает? Даже кто-то если и попадает на встречу, то тотчас исчезает, словно не желая отвлекать наше внимание...

Прошел человек с собакой, и собака была удивительно похожа на своего хозяина; прошествовала шумная ребячья ватага, прошелестела пожилая супружеская чета, как ветка без цветов и листьев, каркнула, пролетая, вальжная ворона - но все это было столь мимолетно, что отнюдь не нарушало тишину, напротив - усугубляло ее: звуки возникали и тотчас пропадали, не оставляя последствий.

Кружились в воздухе ольховые колечки, вился тополиный пух; золоченная солнцем паутина пикировала вниз атласным парашютом.

- Не знаю, каким будет завтрашний день... Может, сложным, мутным, нервным, а может - наоборот... - продолжала она. - В любом случае, это будет завтра...

- А завтра день еще будет ненормальнее... - подхватил он. - Во всяком случае, мне так кажется.

- Ты мне кажешься чересчур грустным... - заметила она.

- Я кажусь себе грустным сатиrom с козлиной физиономией, грустным только внутри, а снаружи обезображенным постоянным смехом и блеющей улыбкой, - отозвался он, - мне давно уже не хочется улыбаться, но кто-то машет тирсом, приказывает - и я улыбаюсь, встав на копытца, издавая радостное козлиное блеяние. Но внутри меня - боль, внутри меня - тоска. И, знаешь, возникает желание спрятаться - от всех и от всего... Никого не видеть и не слышать...

- И ничего не знать...

- Да, уехать куда-нибудь в глушь - и больше не возвращаться...

- Тяжко все это. А давай придумаем сказку и будем в ней жить?

- Давай - пусть не будет ничего дурного вокруг, ничего мрачного и давящего, довлеющего, нависающего, как дурной дамоклов меч!

- Наверное, надо учиться абстрагироваться от всей этой глупости, обволакивающей со всех сторон. Нужно научиться себя защищать от грубой и бесцеремонной реальности...

- Если бы только знать, как этому научиться?!

- Если бы я только знала, как этому научиться - так было бы хорошо, так хорошо...

Так они говорят - каждый о своем - и... идут рука об руку по старому парку, идут туда, где гуще сплетаются ветви, где ветвистые дорожки, словно ловкие ручейки, сливаются в одну речку; тени становятся длиннее, кроны уходят куда-то вверх, к небу, безуспешно закрывая его, и солнце, как мячик, отпрыгивает от этой "защитной сетки", не попадая вниз, но отыгрываясь рыжими рывками, урывками попадающими сквозь узкие, внешне образовавшиеся ячеи.

И небо озирается озером, нависшим над головой; и свет, - Боже, этот божественный свет, пробивающийся сквозь густую листву - золотые слитки падают на землю под ноги; и что там, в душе творится, и как хочется жить, любить, радоваться жизни, вот так, как сейчас, когда они идут, рука об руку, и нежность сопровождает их, и ангелы целуют их, и осеняют своими крылами, и ветви, словно струны арфы, и не хочется задавать вопросов, и не хочется получать ответов.

- Послушай... - говорит она. - Я...

Он не дает ей договорить, закрывая губы поцелуем, горячим, как это солнце, падающее урывками сквозь листву.

Так стоят они, обнявшись, и парк кружится над ними, и деревья уносят их ввысь - они летят, взявшись за руки, и мелькают под ними их любимые города - те, где они бывали, и те, где еще не были, и сердца их вяжутся в

единый узор, густоплетеный, как брюссельское кружево.

## У заветной черты

*"Хочу сиять заставить заново..."*  
Вл. Маяковский

...Смеемся, она называла его куртуазным романтиком.

Она писала ему, поздравляя с днем рождения:

"...мой обожаемый, самый лучший на свете мужчина, с днем рождения!!!"

Я очень хочу, очень-очень, чтобы ты был счастлив.

Я очень хочу, чтобы тебя окружало море любви.

Пусть в сильную жару ты будешь в прохладе, а в стужу - будешь в тепле.

Мне хочется быть с тобой рядом (хорошо, пусть незримо) - везде, в автобусе, на море, на улице.

(Сегодня все твои друзья и знакомые будут поздравлять тебя. Интересно, а за уши тянуть будут?!)

Мне еще очень хочется, чтобы ты думал обо мне.

Милый мой, как хорошо, что ты у меня есть, спасибо твоим папе и маме.

Я очень дорожу тобой, ты мой подарок, мое сокровище.

Я целую тебя, много раз, везде, где можно..."

Так она писала ему.

А вообще они - оба - не любили обычные слова.

Нет, не так.

Они наполняли обычные слова необычным содержанием.

Секс для них был не просто секс.

Секс не заключался для них в обычном соитии, но он был во всем, во всех проявлениях - в повороте головы, во взгляде, в жесте, в случайно брошенной фразе, в улыбке, в воздухе, который во время их встреч заряжался, как перед грозой, в мыслях, соединявших их друг с другом, даже в реакции, когда кто-то - он или она - выставлял какой-то пост на своей странице в Фейсбуке; и даже в тот момент, когда кто-то из них - он или она - читал едва появившиеся строки.

Она называла их близостью слиянием, и это связывало куда больше, чем секс, хотя и секс связывал тоже.

Это было так точно, так пронзительно и так реально.

Как строчки им любимой и часто цитируемой Ахматовой:

*Есть в близости людей заветная черта,  
Ее не перейти влюбленности и страсти,-  
Пусть в жуткой тишине сливаются уста  
И сердце рвется от любви на части.*

*И дружба здесь бессильна и года  
Высокого и огненного счастья,  
Когда душа свободна и чужда  
Медлительной истоме сладострастия.*

*Стремящиеся к ней безумны, а ее  
Достигшие - поражены тоскою...  
Теперь ты понял, отчего мое  
Не бьется сердце под твоей рукою.*

Иногда ему казалось, что они слишком близко подошли к этой черте.

И ему становилось не по себе.

## Перед грозой. Другая жизнь

Нет, ничто не предвещало грозы.

Меня только встревожили ее строки, источавшие горечь.

"Я действительно давно не писала тебе писем. - писала она. - Тебе со мной не повезло.

Когда мы начали общаться, все было нормально. А сейчас я уже совсем другой человек, с другой жизнью. Произошли изменения, к сожалению, не в лучшую сторону.

Я тебе говорила, что не хочу, чтобы ты знал про мои проблемы, их полно у всех.

А между нами пусть будет только радость.

Договорились?"

Договорились?

О чем?

И почему она сама же нарушила предложенный "договор", причинив мне боль?

Но тогда уже вовсю гремела гроза, и это была другая ее жизнь.

## Ничего не изменилось... или По лезвию бритвы

...Ему приснился кошмар, один из тех кошмаров, что в изобилии кочуют по страницам психологических книг: он стоит в собственной квартире перед дверью, в прихожей, освещаемой маленькой тусклой лампочкой. Ничего необычного в том, что он стоит перед дверью, - нет: каждую ночь, перед сном, он обычно проверяет, закрыта ли дверь на засов и на ключ - стародавняя привычка.

Но на сей раз происходит нечто странное, за дверью, на лестничной площадке кто-то есть.

Впрочем, пока ничего страшного не произошло - надо только покрепче закрыть дверь.

"Ничего страшного..." - повторяет он, поворачивая ключ в замке и проверяет, плотно ли пригнан засов, убеждается, все ли в порядке и собирается выключить свет в прихожей.

И... в этот момент дверь неожиданно распаивается, и его охватывает ледяной ужас, буквально приковывает к месту, и нет сил шевельнуться. На пороге стоит некто, одетый в коричневую куртку с капюшоном, надвинутым так, что лица не видно.

Незнакомец ничего не говорит, он протягивает через порог руку, в которой что-то лежит, нечто, похожее на спичечный коробок с лезвиями внутри.

Лица гостя по-прежнему не разглядеть, оно скрыто капюшоном, но ощущение такое, что весь облик внезапно возникшего на пороге человека точно источает ужас, угрозу, тревогу.

...Он проснулся от собственного крика, не успев узнать, что же хотел от него ночной гость и почему он протягивал ему коробок с лезвиями, требуя непременно взять этот коробок, и, - открой он его, - ему бы открылась какая-то тайна, которая касалась бы его самого или той женщины...

"Нет-нет, - оборвал он себя, - это не тайна, это очевидный факт: впервые за все время нашего романа мы перестали понимать друг

друга, как будто наткнулись на какое-то препятствие, и это препятствие развело нас на две стороны; это - стена, мы не видим друг друга, только слышим, но каждый говорит о своем, не слыша другого, и на понятном только ему языке.

От стены веет холодом, как от незнакомца в капюшоне, холодом и отчужденностью, отчего в груди начинает ворочаться беспокойный коробок сердца..."

Он попытался заставить себя поверить в то, что ничего не изменилось, все осталось, как прежде; но как-то неубедительно получалось. Точнее, ум реагировал нормально, но, увы, проигрывал чувству, причем, с разгромным счетом.

Когда же это началось?

Наверное, с того момента, как наступило лето.

"Ах, лето, ах, лето, лето красное, будь со мной..."

"Ох, лето красное, любил бы я тебя..."

Лето...

Он его хорошо запомнил, выучил наизусть, воцарил в кровь, вбил в сознание.

Именно тогда, с первых дней лета, как ему казалось, вдруг произошло что-то, что-то сложилось в отлаженном механизме их отношений, хотя вряд ли это можно было назвать механизмом; скорее, горячим потоком, нет, двумя потоками, которые бросились навстречу друг другу и слились в жарких объятиях, и стремительно понесли вместе, обнявшись, прокладывая, пробивая новое русло.

Едва расставшись, они уже начинали скупать друг по другу; как безумные, звонили друг другу по пять-шесть раз в день, а то и больше, словно пытались удостовериться, что это не сон.

- Да, мой хороший... - говорила она, - и его сердце готово было выпрыгнуть из груди и покатиться мячиком к ее ногам - такая щемлящая нота звучала в этом обращении; казалось, чего тут необычного? А вот, поди ж ты, брало за сердце и не отпускало долго-долго.

Все поменялось в тот летний день, когда она предупредила его, что в связи с проблемами на работе и дома на какое-то время "выпадает" из установившегося уже режима общения.

Вначале он решил, что она шутит.

- А как же я? - спросил он полушутливо-полусерьезно.

- Послушай, - ответила она, - я буду общаться с тобой каждую свободную минуту. Потерпи, мой хороший, буквально недельки две-три, потом я стану свободнее, правда...

Почему-то он не придал ее словам особого значения; или, скажем так, не услышал ее.

Мужчины вообще по своей природе - собственники и эгоисты; обуреваемые самыми лучшими побуждениями, они нередко и не видят, и не признают очевидного, а потом мучаются, как дети, у которых отняли любимую игрушку.

Так получилось и на сей раз.

Нет, получилось гораздо хуже.

Потому что в тот день, когда она "стартовала" в летней своей ипостаси, у него чуть ли не снесло крышу.

В тот день.

Боже, что с ним произошло?!

Куда девались его легкость и самоирония?!

Его вмиг "замкнуло"; как писали в старинных романах, печать угрюмости легла на его чело. Чего он только не передумал за то время, что она не отвечала на его телефонные звонки, смс и прочие сообщения, рассыпанные его щедрой рукой в виртуальном пространстве.

Но самое главное, ему показалось, словно что-то неожиданное и злое произошло с ней самой, и не стало той, кто шептала ему нежно и горячо:

- Милый мой, хороший мой, я никогда не уйду от тебя, никогда!

- Никогда? - переспрашивал он.

- Никогда! - отвечала она и добавляла, - пока сам не прогонишь...

И смеялась.

Как он любил ее смех!

Боже! как ему нравилось, когда она, смеясь, закрывает лицо руками; сам этот жест выглядел естественным и милым, родным, теплым, это был жест, который характеризовал только ее и никого - никого! - больше...

Она смеялась:

- Послушай, я - обычная тетка, среднестатистическая, а ты меня просто идеализируешь, у меня тьма недостатков, и тебе со мной явно не повезло...

- Да, - соглашался он, - идеализирую. А с другой стороны, я, может быть, вижу тебя так, как не видят другие.

Действительно: стоило ему только закрыть глаза, как тотчас она вливалась в его сознание; ее тело плыло в голубом эфире, покачиваясь на волнах, он знал каждый участок ее тела - от белокурых пушистых волос, падающих на лоб, до маленьких нежных пальчиков ее ножек; его губы помнили ощущение от ее губ, шеи, миниатюрных, изящных грудей, плоского, удивительного животика, а главное - желанного лона, с лунной узкой дорожкой, ведущей к его любимому лепестку; они вообще были большие выдумщицы по части наименований и фантазий; обыденное и всем известное их отталкивало; и в этой дразнящей, манящей, чарующей игре был свой высший смысл, доступный только им одним.

И вдруг...

Вдруг этого ничего не стало.

Он пытался вызвать ее на откровенный, серьезный разговор, зная, что на не выносит серьезных разговоров и прочих разборок.

Да он и сам терпеть не мог выяснения отношений, но тут его прорвало.

Он говорил, яростно бросая слова, она изредка отвечала, но как-то невпопад, словно думая о чем-то о своем, и тем самым распыляла его еще больше.

Разговор накалялся.

В отчаянье он перешел на крик:

- Да пойми ты, пойми, наконец, черт возьми! Я всегда был с тобой рядом все это время, и ты была рядом со мной! И вдруг... - он помедлил, подбирая слова, - вдруг... будто что-то "надтреснулось". Ну, как тебе еще объяснить?!

Она вздохнула, пожав плечами:

- Не понимаю, что там у тебя происходит, не понимаю... По-моему, ты меня с кем-то путаешь.

И он осекся:

- Ты права, я что-то путаю, что-то неверно понимаю. Так скажи мне - что?

- Ты как будто сам с собой говоришь, меня не слышишь... - она посмотрела на него внимательно. - У меня на самом деле куча нерешенных вопросов, мелких и не очень. Они как снежный ком, их надо решать. Есть еще ребенок, вообще заброшенный, а он для меня важнее всего. А так ничего не изменилось, все от твоей усталости...

Позже, когда он вернулся домой, сразу же, даже не включив свет, набрал ее номер телефона.

Она ответила:

- Да, мой хороший...

Он сказал ей тихо:

- Будем считать, что наша первая размолвка закончена? Не люблю размолвок.

- Это была размолвка? - в ее голосе сквозила легкая, как пух, ирония. - Буду знать... Ложись спать, ладно? Спокойной ночи, я тебя обожаю...

Последние слова прозвучали ласково-ласково, как когда-то, когда еще не было этого чертова лета.

Он попробовал заснуть, но не спалось, да и давешний сон никак не выходил из головы, вцепился, как репей, не отпускал. И тут он вспомнил, что у него есть знакомая, которая увлекается толкованием снов и делает это бескорыстно, из-за любви к искусству, как говорится.

Не обращая внимания на то, что часы показывали первый час ночи, он позвонил ей и попросил помочь. Внимательно его выслушав и задав несколько вопросов, она сказала:

- Да, сон, действительно, тревожный, к плохому известию...

- К какому? - спросил он.

- Можно предположить, что кто-то заболевает... - задумчиво произнесла собеседница. - Вы видели человека в капюшоне, вы испугались его, значит, это неприятное сообщение, которое вы примете близко к сердцу.

- Когда это случится?

- Не знаю, не знаю... Но, возможно, очень скоро. Скажем так - эта новость буквально уже на пороге.

Она помолчала, а затем повторила еще раз:

- Неприятное известие, даже потеря какая-то, судя по лезвиям в коробке. Вы их не взяли?

- Да не брал я их! - с досадой бросил он. - В том-то и дело, что в тот момент, когда я думал, брать их или не брать, я и проснулся.

- Это хорошо, что вы не взяли в руки коробок. Но переживать случившееся вы будете обязательно. Не могу точно сказать, каким именно образом коснется вас неприятное известие, но, повторю, оно будет для вас не из приятных...

- Вы можете более подробно расшифровать смысл сна?

- Как вам сказать? Квартира - это личное пространство и подсознание. И если сон был цветной, реальный, запомнившийся - это сигнал. И запомните: вы не взяли коробочку, даже не сомневайтесь! Это ваш осознанный выбор, поверьте мне на слово. И значит, вам не придется ходить по лезвию бритвы.

- А должен... - сказал он.

- Что-то? - не поняла она.

- Должен ходить... по лезвию...

# "ОБНАЖЕННЫЕ МЫСЛИ - КАК СВЕТ НА ЛИЦЕ"

"Я белая американка,  
неразделимая смесь  
кельтско-семитской крови,  
выросла под стеклом  
английской теплицы,  
чуть старомодная,  
беспечная и счастливая  
художница".

Перевод А.Ибрагимова

Так написала о себе обретшая широкую известность поэтесса с еврейскими корнями Дениз Левертов. Ныне со времени ее рождения прошло 95 лет. А на свет появилась она в пригороде Лондона, в семье выходца из Беларуси, потомственного еврея-хасида, эмигрировавшего в Великобританию. Там он женился на валлийке, тоже происшедшей из религиозной, но не еврейской семьи. Надо сказать, что о своем происхождении Дениз не только знала (о чем, в частности, свидетельствует приведенная нами цитата из ее стихотворного творчества), но и, как говорится в таких случаях, "со знанием дела" не раз обращалась к еврейской тематике в своих литературных исканиях.

Склонность к поэтическому восприятию и осмыслению действительности пробудилась в ней уже в раннем возрасте. Когда ей было 12 лет, она набралась смелости и послала свои первые стихи Томасу С. Элиоту, знаменитому литератору, как раз к тому времени, поселившемуся в Лондоне, после переезда в Европу из США. Одобрительный отзыв, полученный ею, окрылил начинающую поэтессу. Элиот, как подчеркивали позднее биографы Дениз Левертов, стал для нее подобным "старому Державину" для юного Пушкина. В 17 лет в лондонском ежеквартальном поэтическом обозрении состоялась первая публикация стихов, написанных Дениз.

Писать она продолжала и тогда, когда столкнулась с суровой прозой жизни, работая во время Второй мировой войны в армейском госпитале. Там состоялось ее знакомство с направленным туда на излечение американским офицером (и писателем в гражданской жизни) Митчеллом Гудменом, с которым она, после окончания войны, связала свою судьбу. В 1946 году в Лондоне увидел свет первый поэтический сборник Дениз Левертов "Двойное отражение". В 1947-м она вступила в брак с Митчеллом, и они провели несколько лет, путешествуя по Европе, а затем отправились



на жительство в США, где у них родился сын. Со временем поэтическое дарование Дениз стало в Америке общепризнанным. Было издано более 30-и поэтических ее книг, она также успешно занималась переводческой деятельностью. Кроме того, выступала как автор эссе, вызывавших неизменный читательский интерес. Эти литературно-критические ее выступления были собраны позднее в книге "Поэт в мире". В 60-х годах Дениз находилась в рядах движения пацифистов, исповедуя леворадикальные взгляды, и этим можно объяснить тот факт, что ее стихи (хотя далеко не все), переводились в ту пору на русский язык и публиковались в журнале "Иностранная литература". К тому же, Левертов напрямую обращалась порою к русской литературе, которую хорошо знала. У нее есть поэтические посвящения Чехову, Пастернаку, Мандельштаму. Но еще больший интерес для нас представляют те произведения поэтессы, в которых нашли свое отражение ее размышления, связанные с трагедией Холокоста. Циклом стихотворений Дениз отозвалась на проходивший в 1961 году в Иерусалиме судебный процесс над одним из главных нацистских преступников Адольфом Эйхманом. В одном из стихотворений этого цикла она справедливо указывала на "Хрустальную ночь", как на событие, с которого началась трагедия европейского еврейства:

"...Давно ожидаемый крик,  
звон стекла и хруст костей...  
...сапоги топчут ручьи  
кровавого света  
из пробитых голов..."

...каждый крик иглами страха  
вымораживает глаза,  
фары грузовиков потоками  
льют белый свет,  
их ругань разрубает  
сплошную тьму  
на куски туманно-белой  
пантомимы -  
все этого ждали, и вот  
идет Хрустальная ночь..."

Перевод В.Корнилова

В начале судебного разбирательства в Иерусалиме был упомянут страшный эпизод, когда еврейский мальчик, перелезший через ограду сада в Будапеште и сорвавший с дерева персик, был расстрелян лично Эйхманом на месте "преступления". Потом выяснилось, что это хладнокровное убийство действительно имело место, но мальчик не перелезал через ограду, а просто позволил себе сорвать не персик, а несколько вишен с дерева, работая вместе с другими еврейскими заключенными, но в своем стихотворении поэтесса использовала первоначальную версию преступления, которое потрясло ее до глубины души:

"...красная кровь  
сына Давида  
и сок персика,  
желтый и сладкий,  
текут под деревом,  
и крови больше  
чем сладкого сока,  
всегда больше крови..."

И вот еще один отрывок, связанный с совсем иным, но тоже трагическим для еврейского народа периодом истории, который стоит привести:

"...Хасиды раскачиваются  
всегда взад-вперед,

взад-вперед,  
в такт словам,  
снова и снова,  
все дни в году -  
и только  
в день разрушения Храма...  
который совпал  
с днем рождения Мессии,  
все иначе..."

Перевод В.Корнилова

Здесь нужно пояснить: разрушение, с еврейской точки зрения, - это и начало процесса созидания. В сегодняшнем мраке важно усмотреть луч завтрашнего света. В своеобразном видении представила Дениз Левертов библейский сюжет о "Лестнице Яакова" - восхождение по ней к небесам ассоциировалось у автора с поэтическим творчеством. Своему отцу Дениз посвятила одну из баллад, а еще ее перу принадлежит поэма-посвящение старшей сестре, которая тоже занималась поэзией, правда, оказалась менее одаренной, чем сестра младшая.

На исходе жизненного пути Левертов вновь обратилась к темам своей ранней лирики - к философским размышлениям о "вечных" проблемах человеческого бытия, о месте человека в этом мире, о сущности творчества.

Она ушла из жизни в 1997 году и была похоронена в Сиэтле. Цитаты из ее стихов выбиты на камне у фонтана Парка Мира в Лос-Анджелесе. Не так давно в США в ее честь была выпущена почтовая марка - в составе филателистического блока "Десять великих американских поэтов 20-го века". Примечательная деталь: одна из марок в этом блоке посвящена Иосифу Бродскому.

## Из поэтического наследия Дениз Левертов

### Одиночество

Слепой. Я могу на него глядеть,  
стыдливо, бесстыдно.  
Он чувствует взгляды?  
Нет, велико его одиночество.

Странная прихоть -  
досыта глядеть на чужое лицо.  
Не досыта - хочется еще и еще.

В своем мире он сейчас говорит  
почти вслух. Его губы шевелятся.  
На них беспокойство. И какая-то

радость, почти улыбка.  
Неощущаемый мной ветерок  
рыбит его лицо, словно воду.

Поезд следует к центру,  
останавливаясь на станциях.  
Внутри его громкой,  
дребезжащей сутолоки покой,

покой молчащих людей -  
некоторые смотрят на слепого  
мимоходом, а не жадно, как я, -

и внутри этого покоя - его  
особый покой, не покой, а вихрь  
образов - только какие они,  
его образы?

Он слепой! И ему все равно,  
что он выглядит странно,  
потому что  
обнаженные мысли играют  
на его лице,

как свет на воде, - он же не знает,  
что значит "выглядеть".  
Он слеп от рождения.

И вот он встает и наготове  
стоит у дверей,  
зная, что следующая - его.  
Он считал?  
Нет, он знает и так.

Он выходит, и я за ним.  
"Разрешите, я вам помогу".  
"Пожалуйста". Безразличие.

Но в тот же миг, когда я  
слышу его безразличный голос,  
рука его поднимается, ищет,

и мы идем, взявшись за руки,  
словно дети.  
Его рука теплая и не влажная,  
крепкая - такую приятно  
пожать.

И когда он первым проходит  
турникет, рука его сразу же  
ждет мою.

"Осторожно, ступеньки.  
А здесь направо.  
Опять ступеньки". Мы вышли  
на солнечный свет.  
Он чувствует

ласковый воздух. "Славный день", -  
говорит слепой. Одиночество  
шагает со мной, шагает

рядом со мной, не во мне:  
его мысли  
одиоки, но его рука и моя  
так сроднились, что, кажется,  
словно моя рука, отделившись,  
плывет сама по себе.  
Я перевожу его  
через улицу, и слепой

говорит, что теперь сам  
найдет дорогу.  
Он знает, куда идет: в никуда,  
наполненное тенями.  
Он говорит: "Я".

Перевод А.Сергеева